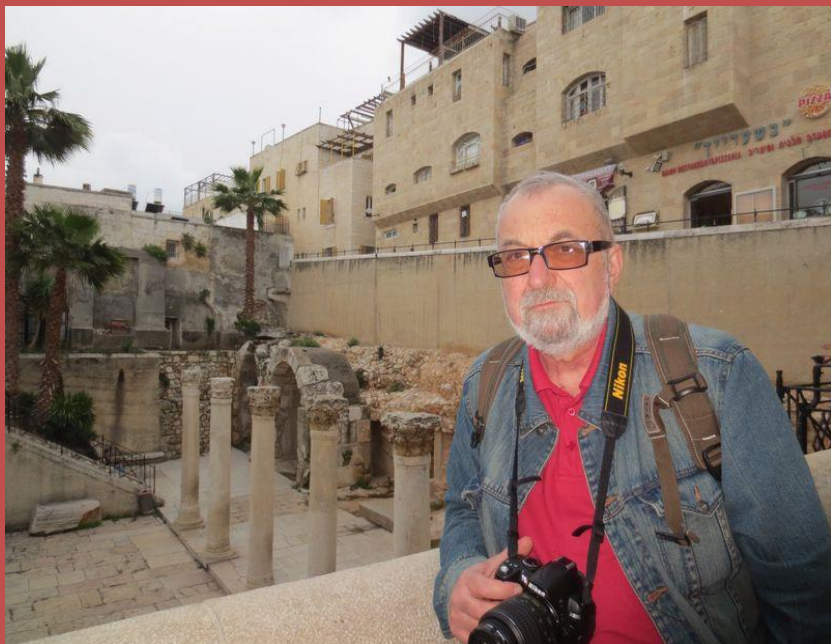


Леонид Гомберг



ТРИ ЧЕТВЕРТИ ВЕКА
Избранные эссе и рассказы

2023

Леонид Гомберг

Три четверти века. Избранные эссе и рассказы (Москва,
2023)

Фото Ирина Резвова

Сергей Северов

Вёрстка, дизайн и техническое обеспечение проекта

В сборник вошли произведения Л. Гомберга,
опубликованные в разные годы в книгах и
периодических изданиях.

ТРИ ЧЕТВЕРТИ ВЕКА

Избранное

Библия. Идеи и образы

Битва за Ханаан.....	5
Пещерная библиотека и ее читатели.....	28
Палестинский неандерталец. Исчезновение.....	43
Равновесие с пробелами.....	52

Портреты в золочёных рамах

Ну что с того, что я там был (Юрий Левитанский).....	63
Невозможная встреча (Михаил Козаков).....	104
Дар... Долг...Право... Восставшая душа (Дина Рубина).....	124

Правдивые истории из прошлого

Репетиция.....	138
Колюня и Деловой.....	142
В наших краях.....	146
Контрабандистка.....	154
Не видеть Париж и умереть.....	163
Ульпан на улице Герцль.....	172
Так начиналась новая жизнь.....	176

Библия. Идеи и образы

Битва за Ханаан

I. Война в Заиорданье

Конечно, Моисей не планировал сорок лет кочевать в пустыне. Если бы такое развитие событий можно было бы представить заранее, то вряд ли Исход вообще состоялся: трудно вообразить, что кто-то из его спутников согласился провести многие годы в скитаниях и умереть, так и не увидев Обетованной Земли. В то же время невозможно допустить, что поражение от местных племен, пусть даже очень тяжелое, могло задержать израильтян на целых 38 лет. Известный востоковед, профессор Бостонского университета И.П. Липовский полагает, что все дело в резко изменившейся политической ситуации. Смута, позволившая Моисею вывести народ из Египта, сменилась сначала стабильностью, а потом и новым ростом могущества страны. Фараон Сетнахт, правда, вскоре умер, но его место занял Рамсес III, последний великий правитель Нового царства. При его вступлении на престол спокойствие в стране уже было восстановлено. Следовало еще возратить прежнюю гегемонию Египта во внешней политике. Рамсес III подавляет восстание ливийцев на западе и вступает в столкновение с «народами моря», все расширявшими экспансию на Ближнем Востоке и уже всерьез угрожавшими Египту. Нанеся им поражение, фараон вступает в войну с кочевниками Эдома на горе Сеир в непосредственной близости от места дислокации израильских племен Моисея. Дальше войска фараона движутся на север Сирии, где разбивают амореев и хеттов при Кадеше-на-Оронте и занимают несколько крепостей. Рамсес III в значительной мере восстанавливает свое влияние в Ханаане.

Все эти события, конечно, не укрылись от внимания Моисея и его сподвижников. Очевидно, что завоевание Ханаана в период усиления мощи Египта осуществить непросто. Это понимал не только Моисей, но и простые израильтяне, в критические моменты

поднимавшие свой голос и сыпавшие своему ВОЖДЮ ОБВИНЕНИЯ в близорукости и авантюризме (Числ.14;2-4).

Царствование Рамсеса III длилось 32 года. Потом на престол вступил его сын Рамсес IV, правивший всего шесть лет, в течение которых ничего существенного не совершил. Уже при нем начинается новая утрата египетских позиций на международной арене.

Пришедшие за ним фараоны Рамессиды от V до XII, как указывает академик Б.А. Тураев, специалист по истории Древнему Востоку, оставили после себя «лишь кое-какие документы из канцелярии». От египетской власти в Сирии и Ханаане не осталось и следа. Положение вновь изменилось. И Моисей предпринимает новую попытку вторжения, но теперь уже из Заиорданья, подальше от филистимлян и других «народов моря», проявлявших активность в прибрежных районах.

1

Пятикнижие Моисея не рассказывает обо всех сорока годах проведенных израильтянами в пустыне. Мы имеем подробное описание только двух первых и последнего, сорокового, года странствий. В 13 и 14 главах Книги Чисел описана история с «разведчиками» и первое военное поражение израильтян от амаликетян и ханаанеев — события, явно относящиеся ко второму году пути.

Судя по всему, история с разведчиками произошла в начальный период пребывания израильтян в Кадес Барни: согласно Книге Иисуса Навина (14;7,10) во время злополучной «разведки» Калеву было 40 лет, город Хеврон он получил в надел через 45 лет, когда ему было уже 85.

В 19 главе Чисел упоминается о смерти Мириам. И сразу после этого вновь бунт из-за воды *против Моисея и Аарона*. Традиция определенно относит эти события к сороковому году, последнему году скитаний по пустыне. В 15 главе Книги Чисел коротко описан инцидент с арестом *человека, собиравший дрова в день субботний*. Бедолагу привели к Моисею и Аарону «и оставили его под охраной, потому что не было еще определено, как с ним поступить» (15;34). В итоге тот человек был казнен. Причем, эта великолепная фраза лучше всяких материальных свидетельств говорит о постепенном и весьма серьезном формировании законодательного

кодекса и выработке норм поведения в общине! Далее, в главах 16, 17 и 18 речь идет о бунте Кораха, претендовавшего на роль духовного лидера израильтян, и печальных последствиях этих событий. Таким образом, ни инцидент со сбором дров в Субботу, ни мятеж Кораха не имеют определенной датировки. Конечно, могут быть разные предположения, но в сущности эти два события могли произойти в любое время с третьего по тридцать девятый годы пути. При этом с горечью приходится констатировать: описание второго года кончается бунтом; потом снова бунт, неведомо когда произошедший, и наконец, последний год странствий опять начинается с бунта... Ну что тут скажешь?

И все же о «темных» 37 годах жизни израильтян в пустыне до нас дошли кое-какие отрывочные сведения. После поражения от амалекитян и ханаанеев (во Второзаконии они названы «амореями»), сопровождавшегося паническим бегством, израильтяне вновь собрались в Кадес Барни и *пробыли там многие дни*. Потом они фактически отправились в обратную дорогу к Чермному (Красному) морю. В Книге Чисел (гл.33) перечислены все стоянки израильтян, к сожалению, далеко не всегда однозначно идентифицированные историками. Но как можно понять, они дошли до Эцион-Гевера, важного города на берегу Акабского залива Красного моря. Потом снова направились вглубь страны и *многие дни обходили гору Сеир*, так и не решившись напасть на земли, принадлежавшие родственным племенам потомков Эсава. Миновав Эдом по касательной, они *повернули к северу: «Отступили мы от братьев наших, сынов Эйсавовых, живущих на Сеире»*, иными словами, отправились на север, в противоположную сторону *«от пути на Араву, от Эйлата и от Эцион-Гевера, и повернули мы и пошли по пути к пустыне Моав»* (Втор.2;8). Но и тут израильтяне не стали атаковать родственные племена моавитян.

Обойдя их земли, они оказались у переправы через реку Зеред...

По другой версии израильтяне после разгрома и отступления возвращаются в Кадес Барни. Там умерла и была погребена Мириам. Там происходит новый «водный бунт». Известный российский ученый Игорь Тантлевский на основании Второзакония (2;14) утверждает, что в Кадес Барни «Израиль пробыл 38 лет». Но стих этот можно понять и иначе. Вот он: *«А времени, что шли мы от Кадес Барни до переправы через реку Зеред было 38 лет, пока*

не перевелся весь род боеспособных мужчин из среды стана...» На самом деле, это расстояние напрямую можно пройти за несколько дней, но обходной путь продолжался в течение жизни целого поколения. Иосиф Флавий пишет, что «Моисей признал необходимым увести евреев подальше от Ханаanei в пустыню...» Впрочем, можно предположить, что часть израильтян отступила на юг, а часть осталась в оазисе.

2

Итак, последний год пути: первый месяц сорокового года...

После многолетних скитаний израильтяне снова в Кадеше.

Претензии бунтовщиков, по существу, повторяют все то, что мы уже не раз слышали за 39 лет проведенных народом в пустыне. Особенно нелепо в устах этих людей звучит вопрос: «И для чего вы (Моисей и Аарон) вывели нас из Египта?» Ведь это уже другое поколение израильтян, знавшее о Египте только понаслышке от своих умерших родителей. Но они также слышали о «земле, текущей молоком и медом», а увидели... «*дурное место, лишенное посева и смоковниц, и винограда, и гранатовых яблок, и воды для питья*» (Числ.20;5).

Здесь происходит досадный, а для Моисея и Аарона — драматический инцидент с тяжелыми последствиями. Пророк получает приказание от Господа *взять посох, созвать общину и сказать скале пред глазами их, чтобы она дала из себя воду*. Он берет посох, созывает общество... Но далее: «*И поднял Моисей руку свою, и ударил по скале посохом своим дважды, и потекло много воды, и пила община и скот их*» (Числ. 20; 11). И что же? В чем разница? От Моисея и Аарона требовалось организовать Чудо, доступное только Господу. А Моисей добыл воду так, как он к этому привык, как он умел, как делал прежде — с помощью удара посохом по скале. Это был недопустимый промах, за который и он, и Аарон были подвергнуты суровому наказанию: теперь не им суждено вести народ в Землю Обетованную.

Высшая воля не замедлила вскоре осуществиться. По дороге в Эдом у горы Ор (традиция идентифицирует ее с Джебелъ неби Харун на территории современной Иордании) умирает престарелый Аарон. Это произошло в пятый месяц сорокового года пути. «*И оплакивал Аарона тридцать дней весь дом Израиля*» (Числ.20;29).

Функция первосвященника по наследству переходит к его сыну Элазару.

В первом боестолкновении с местным населением участвовали ханаanei из Арада, очевидно, те же племена, которых 38 лет назад пытались атаковать израильтяне, но потерпели сокрушительное поражение. Теперь ситуация изменилась. Ханаanei сами напали на израильтян, когда те двигались по направлению к границе Эдома, и получили достойный отпор и даже потеряли города.

Еще раньше, из Кадеса, Моисей отправил к царю Эдома послов с просьбой разрешить пройти через территорию страны. Подчеркивая родство племен, он предпослал письмо словами: «так сказал брат твой Израиль». При этом вождь заверял, что израильтяне не пойдут «по полям и виноградникам» и даже «не будут пить воду из колодцев». Моисей собирался идти известной еще со времен Авраама царской дорогой, не сворачивая *ни вправо, ни влево*. В случае же чрезвычайной необходимости использовать питьевую воду, Моисей пообещал оплатить все издержки. Эдомитяне категорически отказали и даже пригрозили войной. Поскольку военные действия против Эдома не входили в планы Моисея, израильтяне предпочли обойти «родственников» стороной. Для этого им пришлось *от горы Ор* уйти к югу *по пути на Чермное море*, чтобы обойти Эдом (Числ.21;4).

Вынужденный маневр заставил израильтян отклониться к пустынным районам Негева, лишенных питьевой воды. Народ снова возроптал, как сказано, на Бога и Моисея, что повлекло немедленную реакцию: «*И послал Господь на народ змеев сарафов, и жалили они народ, и умерло много из Израильтян*» (Числ.21; 6). Все это повторялось уже много раз: испугавшись неизбежной кары, народ раскаялся, воззвал к Моисею, Моисей помолился Господу за народ, казалось, инцидент был улажен.

Однако последствия оказались непредвиденными. Вроде бы Господь смиловался, простил израильтян, но змеи продолжали кусать людей. И тогда Моисей по указанию Господа сделал змея из меди и водрузил его на шест, видимо, для того, что бы тот был виден издалека. И вот, «*если змей жалил человека, то, взглянув на медного змея, тот оставался жив*» (Числ.21;9).

Медный змей Моисея — вещь вполне реальная. Еще в конце прошлого века ученые предположили, что «змей» был заимствован у мадианитян, с которыми израильтяне имели самые тесные

отношения, особенно, на первом этапе Исхода. Подтверждением этой версии стала находка израильского археолога Бенно Ротенберга в Тимне неподалеку от остатков древнего медного рудника. Это был идол в виде медного змея длиной в пять дюймов, частично украшенный позолотой. Неподалеку было обнаружено древнее святилище, напоминавшее библейскую Скинию. Ротенберг обнаружил отверстия для шестов, на которые натягивался навес и даже остатки ткани. К слову, после этого открытия скептики, полагавшие, что Скиния, подробно описанная в Пятикнижии — лишь выдумка, слегка приутихли.

Итак, двинувшись от горы Ор, израильтяне вынуждены были *обойти землю Эдома*, свернув к Чермному морю, т.е. на юг... И в Числах, и во Второзаконии обозначена стоянка в Аварим, поблизости от долины Зеред на границе с Моавом. Далее они обошли Моав (Числа, Второзаконие) и вышли к его северным рубежам, реке Арнон, бывшей в ту пору границей между моавитянами и племенами заиорданских амореев. С этого времени начинаются территориальные завоевания израильтян.

Впрочем, Моисей по-прежнему не желает обострений. Он посылает послов к аморейскому царю Сихону и просит дать возможность спокойно пройти по его земле, причем обязуется *не заходить в поля и виноградники и не пить воду из колодцев*. Сихон отказывает и собирает войска против израильтян. Судя по всему, речь идет о небольшом аморейском государстве с центром в городе Хешбон. Насколько можно судить из текста Чисел, прежде Сихону удалось отвоевать северную часть территории Моава и занять исконные моавитские земли от реки до моавитских степей, примыкавших к северному берегу Мертвого моря.

Далее сказано: *«И поселился Израиль в земле Эморейской»* (Числ.21;31) Это очень важное замечание: у израильтян впервые появился кусок земли, который они могли использовать как плацдарм для дальнейших боевых действий. А потом: *«И повернули они, и поднялись путем Башанским»* (Числ.21;33) «Поднялись» — значит, продолжили движение на север. Но ведь, как известно, к северу от моавитян жили аммонитяне, также родственники израильтян — потомки Лота. Поэтому израильтяне *повернули*, т.е. обогнули Аммон. Теперь уже они никого ни о чем не просили, а просто вторглись в Башан и разбили башанского царя Ога в битве при Эрдеи, — как сказано, *«овладели землею его»* (Числ.21;35).

Некоторые подробности о войне в Заиорданье сообщает Иосиф Флавий... Сихон, увидев наступающих израильтян, растерялся, да и войско его, казавшееся непобедимым, было объято паникой. Не дожидаясь сражения, амореи обратились в бегство, больше не веря в свои силы и ища спасения. Они рассчитывали укрыться за надежными укреплениями своих городов, но тщетно. Поняв, что враги отступают, израильтяне пустились в погоню и расстроили их боевые порядки. Паника еще усилилась. В то время как амореи в ужасе бежали в свои города, израильтяне не прекращали преследования. Они отлично владели пращами и другим метательным оружием. Легкое вооружение облегчало им преследование. Они либо настигали врагов, либо били их из пращей и добивали копьями. Дело было летом, в жару, — амореев стала одолевать жажда. Желание напиться привело их к реке. Израильтяне окружили их и поразили дротиками и стрелами из луков. В этом бою погиб и царь Сихон. Войска Моисея захватили много оружия и других трофеев. Поскольку поля были полны хлебом, им удалось существенно пополнить свои запасы провианта. Израильтяне беспрепятственно шли по стране, занимая города и захватывая добычу, поскольку вооруженные силы противника были практически уничтожены.

Царь Башана и Гилада Ог поспешно двинул свои войска на помощь Сихону. И хотя до него дошли сведения, что тот пал в битве, Ог все же решил вступить в бой с израильтянами. Царь отличался исполинским ростом и беспримерной храбростью. Однако он был убит, и все войско его разгромлено. Моисей переправился через реку Иавок и пошел по стране Ога, разрушая города и уничтожая живую силу противника. Израильтяне заняли шестьдесят хорошо укрепленных городов и захватили богатую добычу.

Далее они повернули к югу и остановились в моавитских степях на своей территории, отвоеванной у амореев. К западу, за Иорданом, стоял Иерихон.

Скорее всего, уже после победы над Сихоном значительная часть израильтян и огромный обоз оставались в «моавитских степях» в базовом лагере. И только военный отряд вышел на войну с Башаном.

В результате первых месяцев завоеваний израильтяне получили значительные земли в Заиордье — севернее реки Арнон и до самой горы Хермон (Втор.3;8). Конечно, новые политические реалии в регионе не радовали племена, которые жили на этой территории до прихода израильтян. Первым предпринял ответные шаги царь Моава Балак, вероятно, испугавшийся, что вскоре его может постичь судьба Сихона и Ога. Он вступил в сговор с давними союзниками израильтян мадианитянами, теперь, вероятно, утратившими былое влияние на израильскую элиту и обеспокоенными нынешним развитием событий. Вместе они снаряжают посольство к известному в тамошних местах колдуну Валааму и просят его воздействовать на израильтян с помощью колдовства. Послы передают ему слова Балака, который прямо говорит: *«...может быть смогу сразиться с ним и выгнать его (Израиль)»* (Числ.25;11). Однако затея моавитян полностью провалилась: вместо проклятий Валаам изрекает благословения. Между прочим, именно в этом эпизоде колдун озвучивает известную характеристику евреев, в значительной мере распространенную и сегодня: *«...вот народ отдельно живет и между народами не числится»* (Числ.23; 9). Этим словам Пятикнижия часто придают серьезный общеполитический смысл. Между тем, они вполне соответствуют реальной политической ситуации в Ханаане в те дни. Израиль уже имеет свою территорию, но еще не оформил своей государственности среди других народов и племен Ханаана, что зафиксировано в надписи на так называемой израильской стеле Мернептаха после похода фараона в регион.

В 1967 году в Заиордании в полутора километрах к северу от реки Иавок были обнаружены фрагменты надписи, сделанные на стенах старинного языческого храма или жертвенника. Несмотря на то, что ученым удалось восстановить лишь небольшую часть текста памятника, все же можно понять, что это фрагменты значительной по объему «Книги Валаама, сына Веорова, провидца богов», воспроизведенной на древнеарамейском языке в VIII веке до н.э. с гораздо более древнего оригинала. Вероятно, эта книга являлась священным писанием местного языческого населения, где излагались деяния богов, а также некоторые нравоучительные изречения. Таким образом, имя пророка Валаама было известно здесь с давних времен.

Впервые израильтяне начали жить среди других народов Ханаана. И это повлекло новые инциденты.

Существует мнение, что мадианитяне в XIII-XII веках до н. э., особенно, в периоды ослабления египетского влияния в Ханаане, осуществляли контроль над народами, занимающими ключевые караванные пути в регионе, с помощью своих представителей, проживающих в их среде. В Числах в этой связи упоминаются некие «старейшины мадиамские», живущие в Моаве. Вероятно, поэтому много лет назад Моисей уговаривал своего родственника Ховава, сына мадианского жреца сопровождать израильтян в пути. Дружеские отношения израильтян с мадианитянами существенно испортились после того, как «старейшины» попустили, а может, и спровоцировали евреев на идолопоклонство и блуд уже в период их проживания в «моавских степях».

Дело в том, что соблазнительные, но злокозненные моавитянки, с которыми *блудодействовали* израильские мужчины, стали приглашать последних *к жертвам божеств своих*, а те, как нетрудно догадаться, пошли у них на поводу. Моисей вынужден был принять жестокое решение *повесить начальников народа*, виновных в преступном попустительстве, а может, и соучастии. Он приказал судьям беспощадно расправиться с виновными.

Но тут глава колена Шимона Зимри, понимая безнадежность своего положения, *подвел к братьям своим* мадианитянку Козби, ни какую-то там безвестную женщину, а дочь одного глав родов в Мадiane. Желая разжалобить вождей, они плакали у входа шатра соборного на глазах у Моисея и других израильтян. В это время сын первосвященника Элазара и внук Аарона Пинхас, по-видимому, поняв, что престарелый Моисей может, как говорится, дать слабину и помиловать преступников, взял копье и пронзил вероотступника и его соблазнительницу. Очевидно, молодые аарониды, зная о родственных связях с Моисеем с мадианитянами, предпочли действовать быстро и жестко, чтобы предотвратить проникновение заразы в среду израильтян. Сказано, что *«было умерших от мора двадцать четыре тысячи»*. Не исключено, что речь идет о карательной акции. С тех пор мадианитяне были объявлены врагами, *замышлявшими козни* против своих бывших союзников.

Вскоре Моисей организовал военный поход против мадианитян. Было собрано войско численностью 12 тысяч человек, по тысяче от

колена, под командованием Пинхаса, человека, судя по всему бескомпромиссного и безжалостного к врагам. В результате мадианитяне были разгромлены, убито пять царей мадианских, города, поселения и воинские станы сожжены, пленные и военные трофеи доставлены в лагерь израильтян.

Интересно, что добычу разделил пополам между войнами, ходившими на войну и всей общиной, причем часть доли воинов была принесена в жертву Господу, а часть доли община (1/50) досталась левитам.

Перед походом в Ханаан и переходом через Иордан Моисей и Элазар провели еще одну перепись израильтян *от двадцатилетнего возраста, поступающих в войско*. Необходимость проведения этой акции обусловлена тем, что завоеванные территории должны быть разделены *по числу имен*: чем больше колена, тем обширнее надел, который оно должно получить. Колена Левия было пересчитано отдельно, поскольку из-за своей малочисленности вряд ли могло претендовать на собственный надел, что, впрочем, не умоляло их прерогатив. Перепись показала, что *ни одного человека* из исчисленных в Синайской пустыне, кроме Моисея, Калева и Иисуса Навина, среди израильтян больше не оставалось,

В преддверии похода на Ханаан израильтяне из колен Рувима и Гада, а также полуколена Манасии попросили у Моисея предоставить им земли в Заиорданье. Сперва вождь осерчал, даже вспомнил «предательство» разведчиков, но, получив заверения в неременном участии воинов этих колен в предстоящем походе, согласился.

Впрочем, граница Земли Израиля, зафиксированная в Книге Чисел (гл.34), начиналась от пустыни Син на юго-востоке, шла на рубеже с Эдомом до восточного берега Мертвого моря, проходила на юго-западе от Кадес Барни к потоку Мицраим (вади Аль-Ариша), на западе шла по берегу Великого (Средиземного) моря, на севере доходила до Хамата и реки Оронт (около 200 км южнее Багдада), далее сворачивала к югу, шла к восточному берегу озера Кинерет и по Иордану до Мертвого моря. Интересно, что при этом Заиорданье оказывалось вне границ Земли Обетованной, но, несмотря на это, израильтяне завоевали и заселили восточные земли. Политическая целесообразность оказывается существеннее предварительных планов, даже если они продиктованы Свыше.

Моисею осталось довершить немного: он официально назначает священника Элазара, сына Аарона, и Иисуса Навина руководителями похода на Ханаан, а также определяет начальников колен Израиля, претендовавших на свою долю земли в Ханаане, причем первым, конечно, назван Калев сын Иефони из колена Иеуды (Числ.34;16-29).

Не забыл Моисей и о левитах, которым определено местожительство в городах и угодья за пределами города. Названы также города-убежища, где могут укрыться от возмездия люди, совершившие неумышленное убийство.

Наконец все приготовления были завершены.

На сороковом году странствий, в первый день одиннадцатого месяца, Моисей обратился с последним напутственным словом к Израилю.

Обращение Моисея к народу — текст весьма значительный как по объему, так и по смыслу. Теперь он говорит от первого лица. Пророк вспоминает события прошедших сорока лет в пустыне, иногда перетолковывая их смысл в соответствии с нынешним историческим моментом. Он напоминает израильтянам о заповедях, которые они получили на горе Синай, и важнейших установлениях, о которых речь шла в предыдущих книгах Пятикнижия. Впрочем, о некоторых вещах, может быть, особенно важных для него, Моисей говорит впервые. Он рассказывает и том, что Израилю еще предстоит совершить после переправы через реку Иордан, в том числе и частных законодательных установлениях, порой кажущихся малозначительными деталями, но по существу, если вдуматься, очень важных и сохранивших свое значение на долгие века.

Слово пророка заканчивается благословением колен Израиля.

Далее Моисей восходит на гору Нево, еще раз осматривает территорию Ханаана, которую предстоит завоевать, и уходит в вечность.

«Когда он отправился туда, где ему было положено умереть, — писал Иосиф Флавий, — то вся толпа народная с плачем последовала за ним. Тогда Моисей знаком руки остановил стоявших подалеже, прося их не следовать за ним, а тех, кто стояли ближе к нему, уговаривал не увеличивать своим присутствием тягости

разлуки. Не смея перечить ему в этом его желании один на один встретить смерть, они со слезами на глазах остановились и не последовали за ним дальше. Лишь старейшины, первосвященник Элазар и военачальник Иисус (Навин — Л.Г.) еще сопровождали его. Когда же Моисей достиг вершины горы Аварим (Нево), то отпустил и старейшин. Затем он обнял Элазара и Иисуса и пока еще говорил с ними, его вдруг окружила туча, и он скрылся в каком-то ущелье. Впрочем, в священных книгах он сам упомянул о своей смерти из опасения, как бы люди не вздумали утверждать, будто бы он вследствие особенной к нему любви со стороны Господа Бога, был взят прямо на небо», — добавим, как это в давние времена случилось с допотопным патриархом Енохом, а впоследствии, несколько веков спустя, — с пророком Илией.

II. Завоевание Обетованной земли

Завоеванию Ханаана израильтянами посвящена Книга Иисуса Навина (Иеошуа бин Нуна в еврейской традиции), шестая книга Библии, хронологически следующая за Пятикнижием Моисея. Ее открывает рассказ о разведчиках, посланных в город Иерихон, чтобы на месте разузнать обстановку в регионе. Перед нами настоящие профессионалы, а не «уважаемые люди», сорок лет назад полностью провалившие свою миссию. Теперь от них требуются не общие слова поддержки замыслов вождя, а конкретная информация, в том числе, и оперативная.

Разведчики вышли из базового лагеря израильских войск в Ситиме за Иорданом, дошли до города и остановились в доме блудницы Рахав. Это был точный выбор. Наверняка здесь толпилось много народу, а в толпе легче затеряться среди пришлых людей. Без сомнения, в доме велись разные разговоры, — подслушивая и участвуя в них нетрудно раздобыть необходимые сведения. Но самое главное, жилище Рахав находилось в городской стене, а значит, из ее окна можно было сразу выбраться за пределы города, минуя охрану.

Несмотря на все предосторожности, властям все же стало известно, что в городе появились вражеские «соглядатаи»: в ожидании наступления израильтян горожане были настороже. Стражники явились в дом Рахав, но женщина направила их по

ложному следу. Разведчиков же она спрятала на крыше своего жилища, а потом помогла укрыться в горах близь города. Когда через три дня стража вернулась ни с чем, израильтяне вышли из укрытия, переправились через Иордан и вскоре предстали с докладом перед Иисусом Навином. В благодарность за помощь Рахав и вся ее семья была спасена от смертельной опасности во время штурма города.

На следующий день, рано утром войска израильтян двинулись в поход; они дошли до Иордана и разбили лагерь в непосредственной близости от реки.

Началась переправа. Впереди шли священники-левиты, за ними двинулось войско. Иисус Навин приказал вынести из Иордана двенадцать камней по числу израильских колен и водрузить их на западном берегу на месте предстоящей ночевки войска в Гилгале.

Гилгал — означает «круг камней», такое сооружение археологи называют «кромлех». В период неолита и даже раннего бронзового века кромлехи возводили во многих местах Евразии, самый известный из них — британский Стоунхендж. Назначение кромлехов не всегда ясно. В данном случае речь идет, скорее всего, о некой «храмовой территории» на месте стоянки главных сил израильтян. Считается, что Гилгал находился неподалеку от Иордана, на расстоянии четырех-пяти километров к востоку от Иерихона.

1

Иерихон — первый город на пути израильтян.

В Библии Иисус Навин предстает как выдающийся полководец, который, в конце концов, приводит израильские колена к окончательной победе в Ханаане. Как нетрудно заметить, важное место в своей военной стратегии он уделял моральному состоянию воинов — подавлению воинского духа противника и подъему боевого настроения собственных солдат и командиров. В этом он был непревзойденный мастер. Вот и при осаде Иерихона он придумал мощный по силе психологического воздействия маневр. В течение шести дней отряд израильтян обходил город. Во главе процессии двигался военный авангард, за ним шли семь священников-левитов, трубящих в шофары. Эти сигнальные трубы из рога копытных животных издавали громкие и резкие звуки. Шествие замыкали священники, несущие Ковчег Завета, сияющий на солнце короб,

обитый золотом. Легко догадаться о впечатлении, которое эта необычная процессия производила на осажденных жителей города.

На седьмой день отряд вышел с утра пораньше и обошел семь раз вокруг стен. При этом войско, окружившее город, пребывало в полной тишине. И вдруг последовала команда Иисуса Навина: «Кричите, ибо Господь предал вам город!» Священники затрубили в роги, а войско заорало в сорок тысяч глоток.

Далее сказано: «...И распались стены на месте своем, и вступил народ в город» (Нав.6:20).

О том, что же произошло в Иерихоне библеисты и историки спорят давно и ожесточенно. Кое-кто говорит, что внезапно произошло землетрясение, и стены обрушились. Версия о природной катастрофе высказывали многие, ее ярим поборником был известный американский писатель и психоаналитик Иммануил Великовский. В самом деле, в книге Иисуса Навина речь идет о целой череде аномальных природных явлений. Но если согласиться с этой версией, придется признать, что землетрясение случилось очень вовремя.

Немецкий исследователь Вернер Келлер писал, что в течение бронзового века стены Иерихона из-за землетрясений, войн, эрозии отстраивались заново не менее семнадцати раз. Не исключено, что уязвимость иерихонских стен стала в те времена притчей во языцех и нашла отражение в библейском рассказе о том, как израильтяне с помощью только лишь боевого клича захватили город.

Предполагали также, что пока осажденные в ужасе наблюдали за происходящим в течение семи дней действием, солдаты Иисуса Навина устроили сразу несколько подкопов под городские стены. В решающий момент, они проникли в город, частично разрушив укрепления.

Но не исключено, что, поддавшись психической атаке, замороженные многодневным необычным зрелищем, завершившимся громоподобным трублением и криком, люди сами в панике открыли ворота города — *и распались стены на месте своем* — в прямом и переносном смысле.

Следующим на пути израильтян был город Ай. Он находился в пяти километрах к западу от Иерихона и имел двенадцать тысяч жителей. Неподалеку от него, еще западнее, примерно в часе ходьбы, располагался Вефиль. Оба города известны еще со времен Авраама. Но на этот раз разведчики израильтян явно переоценили

свои возможности, сообщив Иисусу Навину, что для захвата города достаточно всего двух-трех тысяч воинов. Горожане оказали нападавшим ожесточенное сопротивление, израильтяне отступили и обратились в бегство, несколько десятков воинов погибли... *«Растаяло сердце народа и стало водою»* (Нав.7;5), — так сказано об этом в Библии.

Но дело было не в самом поражении: Иисус Навин испугался, что ханаанеи узнают о разгроме, и в результате будет развеян миф о непобедимости израильтян на поле брани! А это никуда не годилось. Полководец детально разработал новый план захвата города. Теперь к боевым действиям он привлек тридцать тысяч воинов. К западу от Айя, между Вефилом и Айем, он поставил в засаду отряд из пяти тысяч солдат, а сам остался с основными силами. Рано утром полководец выступил во главе войска, подошел к городу и встал на равнине к северу от него. Утром царь во главе ополчения горожан вышел навстречу израильтянам, но те неожиданно отступили, заманивая в ловушку солдат противника. Те поддались на уловку и начали преследование. К ним присоединились ополченцы из Вефиля, находившиеся с Айем в союзнических отношениях. Увлеченные погоней за неприятелем они фактически оставили оба города лишенными защиты. И тут Иисус Навин подал условный сигнал, подняв свое копье и указывая им в сторону Айя. В засаде, с горы, войны увидели сигнал командира, пошли в атаку, заняли незащищенный город и подожгли его. Горожане, увидев поднимавшийся к небу столб дыма, поняли, что их перехитрили и в панике остановились. Иисус Навин развернул свое отступающее войско и напал на преследователей. В это время израильтяне, занявший Ай, вышли на равнину и в свою очередь атаковали ополчение, оказавшихся зажатыми между двумя израильскими отрядами. Бойцы Айя были разбиты и уничтожены, царь взят в плен и казнен, город сожжен и разрушен.

Захватив несколько городов на востоке Ханаана, Иисус Навин принял решение соорудить жертвенник, принести жертвы Господу и провести массовую церемонию «основания», как и завещал Моисей (Втор.8;33). Израильтяне встали по обе стороны Ковчега Завета — половина против горы Гризим, другая против горы Гевал. Иисус Навин благословил народ Израиля, а затем вслух прочитал Моисеево Пятикнижие. Особо подчеркнуто: в церемонии участвовали все — женщины, дети, пришельцы, то есть люди, в

разное время присоединившиеся к Израилю. Это впечатляющее зрелище очень походило на устрашающую акцию, призванную окончательно сломить боевой дух противника.

Кажется, это возымело действие. Перепуганные жители города Гаваона пришли к Иисусу Навину в Гилгал, притворившись обитателями *весьма дальней страны*, пожелавшими заключить союз с израильтянами. «Мы рабы ваши», — сказали они, и это не было простой данью вежливости; они, в самом деле, претендовали только на роль младших партнеров сильных израильских колен. Гаваон располагался километрах в двадцати пяти от Иерихона и восьми от Аяя; так что не зря опасались горожане — они вполне могли оказаться следующими на пути израильтян. Трудно поверить, что бы такой человек, как Иисус Навин попался на удочку с неправдоподобной историей *«весьма дальней страны»*. Обман раскрылся очень скоро. Буквально через несколько дней израильтяне оказались в Гаваоне и еще трех подчиненных ему селениях. Полководец, однако, принял решение не карать обманщиков, так как формально с ними был уже заключен союз, но он на долгие годы поставил горожан в подчиненное положение.

Между тем ханаанеи и не думали сдаваться без боя. Несколько царей во главе с иерусалимским главой Адони-Цедеком, услышав о договоре израильтян с Гаваоном, *городом большим, как один из городов царских*, решили предпринять ответные действия. В союз против Иисуса Навина, кроме Иерусалима, вошли южные города Хеврон, Ярмут, Лахиш и Эглон. *Цари аморейские, жители гор* собрали объединенное войско и подступили к стенам Гаваона, жители которого, конечно же, обратились за помощью к Иисусу Навину. Израильтяне шли всю ночь из Гилгала, а это более тридцати километров, и сходу внезапно напали на вражеский стан. Войско южных амореев обратилось в паническое бегство. Помешать окончательному разгрому могла лишь ночная темнота. Но случилось невообразимое: над долиной Аялон *«остановилось солнце, и луна стояла, доколе мстил народ врагам своим»* (Нав.10;13). Аялон расположен примерно в полутора десятках километров к западу от Гаваона, а это значит, что аморреи отступали в сторону моря, где израильтян еще не было.

После новой блистательной победы над сильным противником Иисус Навин раскинул свой стан у Македы и на следующий день сходу взял этот город. Дальнейшие его действия не трудно было

предсказать: израильтяне нападают на Хеврон, Эглон, Девир и другие города юга, захватывают нагорье и низменность. После тяжелых боев на южном направлении Иисус Навин вместе с войском возвращается в свою ставку в Гилгал.

На следующем этапе военные действия перемещаются на территорию северного Ханаана. Инициатором новой военной компании становится царь Хацора, самого крупного города в северном регионе страны. Он собрал войска нескольких городов *к северу и югу от озера Кинерет* (Галилейского моря), *а также ханаанеев на востоке и западе*. Все эти отряды собрались у *Мей-Мерома*, что обычно переводится как «воды Меромские» и соответствует озеру Хуле на Иордане примерно в двух десятках километров к северу от Галилейского моря. Войско было особенно многочисленным, *как песок на берегу моря*, да к тому же включало *коней и колесницы*, и, стало быть, представляло грозную военную силу. Иисус Навин снова напал внезапно, войско северных городов дрогнуло и отступило, израильтяне начали преследование сразу в нескольких направлениях. Хацор был сожжен, другие города захвачены, но не разрушены.

2

Невозможно отделаться от мысли, что настойчивое описание чудес в книге Иисуса Навина может иметь отношение к загадочным природным явлениям, которые происходили в этот период в Восточном Средиземноморье. В свое время писатель Иммануил Великовский посвятил этим событиям несколько сенсационных исследований, правда, с весьма сомнительными результатами. В Библии подробно описана остановка вод реки Иордан, случившаяся во время перехода израильтян, с точным указанием городов и местности, где это случилось. *«Остановились воды реки Иордан, текущие сверху, встали одной стеной..., текущие в Ям Аарава, в Ям Амелех (Мертвое море), совершенно пресеклись они, и народ переходил против Иерихона»* (3;16). Легко предсказать скептические улыбки на лицах читателей, побывавших в Израиле и своими глазами видевших Иордан: мол, что там особенно удивительного — река неширока и неглубока, нетрудно перейти ее вброд. Однако в прежние времена Иордан был гораздо полноводнее, не такой извилистый, как сегодня, да к тому же, как сказано, *«Иордан выступает из всех берегов своих во время*

жатвы» (3;15). А дело было как раз перед Пасхой, когда в Израиле начинается жатва ячменя.

По мнению Вернера Келлера, переправа израильтян проходила через известный с древних времен брод в среднем течении реки. Исследователь утверждает, что Иордан не однажды оказывался «перегорожен» в результате землетрясений. «Последний катаклизм такого рода случался здесь в 1927 году. От мощных толчков берега реки провалились, и с невысоких холмов, тянущихся по берегам Иордана, целые тонны почвы обрушились в воду. Течение было заблокировано на двадцать один час. В 1924 году произошел аналогичный случай. В 1906 году Иордан был настолько засыпан землей при землетрясении, что русло ниже по течению близ Иерихона пересохло на целые сутки».

Дальше случилось нечто невообразимое. На исходе битвы Иисуса Навина с коалицией аморейских царей южных городов Ханаана, в то время, когда израильтяне начали одолевать врагов, и те побежали... *«остановилась солнце, и луна стояла»* (Нав.10;13). Понимая великую значимость этого события и его уникальность, составители книги Иисуса Навина в доказательство правдивости своих слов, прибегают к прямому цитированию свидетельства «Сефер а-яшар», «Книги Праведного», авторитетного древнейшего источника, легшего в основу библейского повествования. *«И остановилось солнце среди неба, и не спешило к заходу почти целый день! И не было такого дня ни прежде, ни после него...»* (Нав.10;13). Но и это еще не все... Во время бегства врагов Израила *«Господь бросал в них камни большие с неба, и они умирали; больше было тех, которые умерли от камней града, нежели тех, которых умертвили сыны Израиля мечом»* (Нав.10;11). Речь явно идет о катастрофическом явлении под названием метеоритный дождь, возникающем при прохождении Земли через так называемый метеоритный рой. В принципе такое случается не редко, но обычно небесные тела сгорают при прохождении через плотные слои атмосферы. Но иногда Земля встречается с очень плотным потоком, и тогда на поверхность выпадает настоящий метеоритный дождь, который может продолжаться один-два часа. Астрономы говорят, что такое случается несколько раз в столетие.

Некоторые ученые, но еще в большей степени публицисты, пытались идентифицировать происшедшие события с масштабной природной катастрофой, произошедшей во времена Иисуса Навина.

И. Великовский даже создал целую теорию, объясняющую многие библейские события серией катастрофических явлений, случившихся во время Исхода и завоевания Ханаана. Это весьма захватывающее чтение, но сегодня, спустя больше полувека, идеи, высказанные автором, представляются романтическим вымыслом.

В результате военного похода, длившегося *долгое время*, израильтяне заняли несколько анклавов в разных районах Ханаана. Текст книги Иисуса Навина не позволяет утверждать, что страна, или даже большая ее часть, была занята полностью. Многие земли на юге и севере Ханаана, на побережье Средиземного моря в районе Цидона, а также в Заиорданье оставались во владении ханаанских народов. Не был отвоеван Иерусалим, оставшийся городом иевусеев. Но главное, юго-западная область оставалась под властью филистимлян, которых окончательно смог победить только царь Давид несколько веков спустя.

Библейские книги свидетельствуют, что овладение Обетованной землей вышло за рамки одного, пусть и победоносного, военного похода, а продолжалось несколько десятилетий. Израильский археолог Амихай Мазар подчеркивает, что «библейское завоевание Ханаана можно рассматривать как сжатое отражение сложного исторического процесса, в котором некоторые из ханаанских городов-государств, ослабленные и обедневшие после трех столетий египетского владычества, уступили в Железном веке I (т.е. в начале XII века до н.э.) место новому национальному образованию — Израилю».

Тем не менее, Иисус Навин произвел разделение всей территории Ханаана между коленами Израиля, оставив решение главной задачи полного овладения Обетованной землей на будущие времена. Дальнейший ход исторических событий показал, что такое решение было правильным.

В результате в Заиорданье полуколено Манасии получило большую часть Башана, колено Гада — землю Гилада; за коленом Рувима была закреплена территория к югу от Хешбона до реки Арнон, впадающей в Мертвое море примерно в середине его восточной береговой линии. Южнее располагался враждебный израильтянам Моав.

Колено Иеуды, возглавляемое престарелым, но все еще мощным Калевом, сыном Иефони, получило обещанную вождем территорию — от потока Египетского (Вади аль-Ариша) и Кадес

Барни на юге до северных окраин Иевуса (Иерусалима) в центре страны. Калев занял Хеврон, разгромил анаков, остатки старого неолитического населения Ханаана, взял несколько крупных городов к западу от Мертвого моря и пустыни Цин. К наделу Иеуды были «приписаны» и земли филистимлян с их городами, но, конечно, лишь номинально, — завоевать их не удалось. Иерусалим также не смогли отбить у иевусеев.

В пустынных землях на юге Иеуды скромно приютилось колено Семеона, ослабевшее и вскоре исчезнувшее с исторической сцены.

Севернее разместились колено Вениамина с городами Иерихон и Гаваон, а также земли «дома Иосифа» (колено Ефрема и второй половины колена Манасии) с важным центром в Сихеме. На побережье Средиземного моря располагались земли Дана и Ашера, а в центре страны — Исахара, Завулона и Нефалима.

Войска колен Ефрема и Манасии так и не смогли изгнать сильные ханаанейские кланы из Гезера и еще нескольких крупных городов. Лидеры жаловались Иисусу Навину, что у ханаанев Бет-Сана на плодородной Изреельской долине имеются на вооружении железные колесницы, и поэтому одолеть их невозможно. Они намекали вождю, что в силу такой уважительной причины неплохо было бы расширить их земли за счет уже завоеванных территорий. Но Иисус Навин отказал им, сославшись на многочисленность людей «дома Иосифа» и необходимость освоения горных участков страны.

Воинов из колен Рувима, Гада и полуколена Манасии, до конца выполнивших свою миссию, Иисус Навин отпустил на их заиорданские земли. Однако вождь и его окружение боялись раскола, особенно обращения израильтян к «иным богам» Ханаана, что было предсказано и казалось неизбежным. Поэтому, как только стало известно о сооружении заиорданскими коленами своего отдельного жертвенника — *большого, видного издалека*, в ставке не на шутку встревожились и решили превентивно применить к ним военную силу. К «отступникам» была направлена делегация, состоящая из видных представителей израильских семей, тысяченачальников, во главе с Пинхасом, несгибаемым священником и воином, внуком самого Аарона. Посланникам разъяснили, что эта акция предпринята не для того, чтобы «переметнуться» к *иным богам*, а наоборот, чтобы сохранить веру отцов и Израиля. Инцидент был исчерпан, но тревога, вероятно, осталась. Ведь еще Моисей не сразу принял решение о выделении

земель за Иорданом, в непосредственной близости от моавитян, уже пытавшихся свратить Израиль. Вероятно, тревога лидеров израильтян не была напрасной. Согласно знаменитой песни Деборы (Суд., гл.5), считающейся одним из древнейших поэтических текстов Библии, спустя несколько десятков лет в боевых операциях израильтян приняло участие только полуколено Манасии-Махира, т.е. заиорданская часть «дома Иосифа». Другие два колена своими союзническими обязательствами явно манкировали. А впоследствии колено Рувима и вовсе перестало упоминаться в тексте Библии, возможно, оно просто растворилось среди соседей, отчасти моавитян, отчасти гадитов.

3

Конец Бронзового века принес немалые разрушения на всем Древнем Востоке. Не стал исключением и Ханаан, издавна служивший мостом между Египтом и государствами Месопотамии, и потому избыточно отражавший происходившие перемены.

Первая волна разрушений в Ханаане относится ко второй половине XIII века до н.э. и, возможно, связана с походом фараона Мернептаха (ок.1213-1203 до н.э.). Поселения вновь были разрушены в период с начала и до середины XII века до н.э., скорее всего, из-за нашествия «народов моря» и вторжения израильтян. Упадок последних египетских и ханаанских укрепленных городов, очевидно, были связаны с концом египетского влияния в Ханаане.

С начала XII века до н.э. этническая картина и материальная культура в Ханаане значительно меняется. Система городов-государств, между которыми хозяйничали кочевые и полукочевые племена, сменилась этнополитической структурой, при которой отдельные районы были заселены различными народами. В западном Ханаане поселились израильтяне, филистимляне и родственным им «народы моря». В Заиорданье израильтяне соседствовали с эдомитянами, моавитянами, аммонитянами и арамеями.

В некоторых случаях, но не всегда современные археологи находят подтверждение фактов, упомянутые в Пятикнижии. Как мы уже говорили, история о пророке Валааме из Книги Чисел (гл.22-24) убедительно подтверждена настенными надписями в Тель Дейр-Алле около устья реки Иавок. На рубеже XIII и XII веков до н.э. по данным археологов были разрушены северные и южные города

Вефсамис (Бейт-Шемеш), Тимна, Тель Бейт-Мерсим и Тель Халиф, что не противоречит библейской традиции. По мнению израильского археолога Игаэля Ядина, крупнейший ханаанский город Хацор был уничтожен в результате прихода израильтян. В Бейтине (Бей-Эль) разрушено укрепленное ханаанское поселение Позднего Бронзового века, которое было восстановлено уже в XII веке до н.э., что, по словам археолога Амихая Мазара, также подтверждает подлинность библейского рассказа о завоевании Ханаана.

В Книге Судей (1;27-35), а также в Книге Иисуса Навина перечислены не завоеванные израильтянами территории Ханаана. В некоторых из этих мест, таких как Веф-Сан, Мегиддо (Меггидон) или Гезер, ханаанская культура с дополнительными элементами, привнесенными « народами моря », существовала с начала Железного века, что соответствует данным Библии. В Таанaxe ханаанский город был разрушен к концу XIII века до н.э., и на его месте выросло небольшое поселение израильтян. В Сихеме же, где неподалеку от города после перехода через Иордан был вновь подтвержден союз Израиля с Господом, ханаанский город, по мнению археологов, находился вплоть до XI века до н.э.

Археологическая разведка выявила принципиально новый тип расселения, сложившийся с начала XII века до н.э. Сотни мелких поселений, определенно связанных с израильтянами, возникли в гористых районах Верхней и Нижней Галилеи, на холмах Самарии, в северном Негеве, в центральном и северном Заиорданье. Площадь некоторых из них едва достигала одного акра.

Наибольшее количество поселений располагалось на центральном нагорье, на территории наделов колена Ефрема и полуколена Манасии, где порой они доходили до десяти и более акров. Среди значительных населенных пунктов выделяется Шило, главный культовый центр израильтян в этот период. В наделе Биньямина развивались несколько городов, в их числе Мицпа (близ современной Рамаллы), а также Гива, в период становления монархии ставшая столицей первого израильского царя Саула (ок.1029-1005 годы до н.э.). Южнее Иерусалима выделялся город Гило. В районе Хеврона поселения израильтян в начале XII века до н.э. были очень редки. В долинах Арада и Вирсавии основано несколько новых селений, в том числе и Тель-Масос, едва ли не самое крупное в стране, достигавшее более 20 акров. Освоение

возвышенности Негева интенсивно осуществлялось в более позднее время. В Заиорданье, Гиладе, к северу от реки Иавок, в десятке небольших поселений жили израильтяне полуколена Манасии-Махира; интересно, что точно такие же поселения возникли в горах Самарии, где проживало другое полуколono. Редкие поселения израильтян в Заиорданье располагались и южнее.

После раздела Ханаана миссия Иисуса Навина была с честью завершена. Он скончался в своем наделе на территории колена Ефрема и был похоронен *на горе Ефремовой*, холмистой местности в центре страны. В Ханаане все еще оставались города, занятые ханаанеями и филистимлянами. Окончательная победа придет гораздо позже. Но уже с этого времени Обетованная земля между Иорданом и Морем, и даже отчасти к востоку от Иордана, становится Землей Израиля, Эрец Исраэль.

Из книги «Добрая земля за Иорданом» (С-Пб.: Алетейя, 2017)

Пещерная библиотека и ее читатели

Одним из важнейших археологических открытий XX века на Ближнем Востоке стало обнаружение в 1947 году так называемых свитков Мертвого моря. С тех пор в пещерах Кумрана и других районах, прилегающих к Мертвому морю, были найдены тысячи рукописей — от больших свитков до мелких клочков пергамента с несколькими буквами, — датированных со II века до н.э. до I века н.э. Все эти находки с исчерпывающей полнотой отражают духовные процессы в израильском обществе конца эпохи Второго Храма. В частности, среди кумранских рукописей содержится до 180 списков библейских книг, в основном, фрагментов, а также цитат. Нет сомнений, что читатели, авторы и переписчики видели в библейских текстах отражение реальной исторической памяти.

1

Юный бедуинский пастух Волчонок Мухаммед (Мухаммад эд-Диб) рассказал, как в один из знойных дней 1945 года при поисках пропавшей козы он вдруг обнаружил пещеру, а в ней таинственные кувшины, которые один за другим он разбил в надежде найти сокровище. Но вместо сказочных богатств он наткнулся на свернутые куски кожи, испещренные какими-то каракулями. Парень решил прихватить кожу с собой, прикинув, что она может пригодиться для ремонта изрядно поизносившихся сандалий. Куски кожи Мухаммед положил в вещевой мешок, где они благополучно пролежали года два, пока однажды к нему не зашел дядя и не предложил продать их надежным людям в Вифлееме.

Весной 1947 года бедуины показали несколько кожаных свитков торговцам антиквариатом, которые, угадав их древность, известили настоятеля монастыря св. Марка митрополита Афанасия. Узнав, что они из района Кумрана, митрополит проявил к свиткам неподдельный интерес и, разумеется, решил выяснить точное место находки. Но он опоздал — бедуины ушли из Вифлеема. И все же отец Афанасий не отступил: через некоторое время ему удалось встретиться с ними и приобрести пять рукописей за 50 фунтов, причем две из них оказались частями одного свитка — ставшего впоследствии известным как «Устав общины». Митрополит послал своих людей обследовать пещеру, и они, в самом деле, они отыскали там оставшиеся от свитков фрагменты.

По инициативе митрополита Афанасия в августе 1947 года одну из рукописей впервые осмотрел компетентный специалист — голландский ученый Ван дер Плог, гостивший тогда во Французской археологической школе в Палестине. Он безошибочно опознал в ней Книгу пророка Исаии. Потом свитки осмотрели еще некоторые ученые, но не проявили к ним особенного интереса.

Тем временем, в ноябре 1947 года, иерусалимский торговец древностями позвонил по телефону профессору Еврейского университета в Иерусалиме Элиезеру Сукенику (1889-1953) и вызвал его к границе, проходившей в то время прямо по территории города. Через ограждение он протянул ученому кусок кожи, исписанный древними еврейскими буквами. Это была часть все той же находки Мухаммеда, которую не удалось перехватить митрополиту Афанасию у бедуинов. Профессор Сукеник сразу определил большую древность и особую ценность рукописи. Через посредство антиквара ему удалось связаться с бедуинами из Вифлеема и приобрести три свитка вместе с сосудом, в котором они хранились в пещере. Ученый «на глазок» датировал их элинско-римским периодом.

В конце января 1948 года Э. Сукеник получил письмо от доверенного лица митрополита Афанасия, который просил профессора о свидании. Место и время встречи должны были оставаться тайной. Ночью, при свете карманного фонарика Сукеник рассмотрел показанные ему рукописи и в одной из них узнал текст Книги пророка Исаии, другие рукописи оказались частями свитка «Устава». Было решено организовать встречу митрополита с ректором Еврейского университета в Иерусалиме для переговоров о приобретении рукописей. Но прежде посредник, давний знакомый профессора по археологическим раскопкам в Палестине, доверил ему свитки на три дня для более детального обследования. За это время ученый успел сделать из них обширные выписки, а потом и расшифровал их. Уже в 1948 году он опубликовал свой первый выпуск с обзором рукописей под название «Укрытые свитки»; второй вышел в 1950 году.

Между тем митрополит Афанасий не спешил выходить на связь с руководством Иерусалимского университета. Вероятно, ему казалось, что лучше иметь дело с американцами, и в феврале 1948 года он обратился в Школу восточных исследований (США) в Иерусалиме. Так все пять рукописей митрополита оказались в руках

молодого ученого Джона Тревера, у которого древность свитков с самого начала не вызвала сомнений. Чтобы убедиться в этом окончательно, ему достаточно было сличить их «с папирусом Нэш», названным так по имени английского археолога В.Л. Нэша, самым древним из известных рукописных памятников до кумранских открытий, датированным около I века н. э.

Получив разрешение митрополита, Д. Тревер вместе с коллегой У. Браунли начал фотографирование рукописей. Фотокопию свитка с Книгой Исаяи Тревер послал профессору У. Олбрайту. В ответном письме выдающийся ученый поздравил молодого коллегу «с величайшим из сделанных в новое время открытий рукописей» и датировал свиток I веком до н.э. Тем временем Тревер и Броунли завершили фотографирование и идентификацию еще двух древних книг. Два свитка, соединенные учеными, оказались тем самым «Уставом», на котором впоследствии была основана господствующая до последнего времени теория Кумранской общины ессеев. Другой оказался комментарием на текст пророка Аввакума, древнейший из дошедших до нас комментариев библейских текстов. Последний свиток с четвертой книгой был так сильно поврежден, что в те годы его не могли даже развернуть.

Весной 1948 года руководитель американской восточной школы М. Берроуз начал подготовку к фундаментальной публикации о кумранском открытии. Американцы отправились из Иерусалима в США, где приступили к дешифровке текстов и подготовки их к печати. Тогда же в прессе появились первые сообщения о находке рукописей вблизи Мертвого моря.

Тем временем митрополит Афанасий тайно вывез рукописи за границу и поместил на хранение в сейфе одного из нью-йоркских банков. Нужно сказать, что сделал он это весьма своевременно: в ходе арабо-израильской войны летом 1948 года монастырь св. Марка сильно пострадал от пожара, а это могло привести к утрате бесценных рукописей.

В сентябре 1948 года почти одновременно с публикацией Э. Сукеника, о которой мы говорили выше, появились первые статьи Д. Тревера и М. Берроуза о рукописях Мертвого моря. В 1950-51 годах американцы издали два тома с факсимиле трех дешифрованных ими рукописей — «Устава», «Комментариев на Аввакума» и книгу Исаяи. С тех пор поток публикаций, исследований, статей не прекращается по сей день.

Свитки митрополита Афанасия пролежали в банковском сейфе до лета 1954 года. Ему пришлось сильно уменьшить цену — с 1 миллиона до 250 тысяч долларов, — прежде чем нашелся покупатель. Им оказался профессор Иерусалимского университета Игаэль Ядин, сын к тому времени уже покойного Э. Сукеника. Так свитки Мертвого моря вернулись в Израиль.

Конечно, ученые вскоре сообразили, что «пещера семи свитков» или «пещера №1», возможно, не единственное место в округе, где могли храниться рукописи. Но археологи были не одиноки в своих надеждах, в свою очередь бедуины открыли неплохой источник доходов и взялись за дело с необыкновенным рвением: если первые найденные ими рукописи ушли практически за бесценок, то новые находки продавались гораздо дороже. В результате были обследованы сотни пещер к северо-западу от Мертвого моря. Рукописи были обнаружены лишь в нескольких из них, — не только литературные произведения, но и деловые документы. Особый интерес представляют находки, относящиеся ко времени восстания Бар Кохбы (132-135 годы). Оказалось, что пещеры, расположенные неподалеку от Кумрана в вади Мурабаат, служили укрытием для повстанцев.

2

Уже к началу 60-х годов прошлого века археологами и бедуинами было обнаружено около 40 тысяч фрагментов рукописей на коже, пергаменте и папирусе, которые представляли собой остатки около 600 книг, причем только не более десятка дошли полностью или почти полностью. Все остальное — отрывки, иногда буквально клочки с несколькими или даже одной буквой, часто едва различимой.

После Шестидневной войны, когда территории к западу от Мертвого моря перешли под юрисдикцию Израиля, в Иерусалиме состоялась научная конференция, которая подвела итоги нескольких десятилетий работы. Так возникла новая наука — кумранистика. Между тем поиски продолжались, была обследована едва ли не каждая пядь земли в этой части Иудейской пустыни. В результате почти в 250 пещерах были обнаружены 900 свитков и фрагментов.

Однако и в конце 60-х годов, и далее все материалы, находившиеся в ведении Рокфеллеровского археологического музея в Восточном Иерусалиме, все еще оставались в полном и

безраздельном распоряжении узкой группы специалистов, которую возглавляли знаменитый археолог Ролан де Во (1903-1971) и его преемники. Лишь в 1991 году группу возглавил профессор Эммануэль Тов, и исследовательская деятельность приобрела подлинный размах.

Все говорило о том, что свитки Мертвого моря — остатки большой библиотеки.

Но кому она принадлежала? Дело в том, что скалы с пещерами, в которых были обнаружено «основное хранилище», находятся примерно в полукилометре от руин древнего поселения, о котором ученым было известно еще в XIX веке. Конечно, о них «вспомнили» археологи Ролан де Во и Ланкастер Хардинг, проводившие раскопки в Кумране с 1951 по 1957 годы. Они нашли там израильское поселение середины VIII-VI веков до н.э. Следующее по времени поселение возникло там гораздо позже — во II веке до н.э. и просуществовало до 68 года н.э., когда было занято римлянами. Во время восстания Бар Кохбы здания использовались иудейскими повстанцами, после чего были окончательно заброшены.

Наиболее важной частью комплекса Хирбет Кумран, по мнению археологов, является северо-восточный «квадрат» 37на 37 метров, возникший на месте более древнего поселения. В северо-западном углу его расположена двухэтажная башня с массивными стенами толщиной 1м 30см. Живой интерес ученых вызвала длинная прямоугольная комната: Ролан де Во сразу решил, что это был скрипторий, т.е. место, где писались и переписывались рукописи. О таком экзотическом назначении комнаты свидетельствовали остатки стола, а также чернильницы — целых пять штук. На двух других имевшихся в комнате столах обнаружились выемки, как смело предположил Р. де Во, для воды, которой писцы совершали ритуальное омовение рук, если в тексте вдруг встречался тетраграмматон, сакральное четырехбуквенное обозначение имени Всевышнего. Странно, что ученый не сообразил, что писать сидя за столом люди стали значительно позже. В древности они располагались в позе, похожей на йоговский «лотос», положив рукопись на колени. Уже потом, при детальном анализе выяснилось, что чернильницы принадлежат к разным периодам, три из них — вообще III века (нашей эры!), когда рукописи были давно написаны, а Иудея опустошена.

В комплексе была найдена кухня с хорошо сохранившимися очагами, а также «посудная» с более чем тысячу предметами глиняной столовой утвари. Имелось также обширное помещение для собраний — по мнению де Во, устроенное так, чтобы собравшиеся сидели лицом к Иерусалиму — со столовой для ритуальных трапез. В комплексе размещались гончарные мастерские с подсобными помещениями, мельницы, пекарня с печами, зернохранилище, стояла для выючных животных и другие хозяйственные службы. Картину дополняла необходимая в пустыне система водоснабжения с цистернами и бассейнами, а также канализация.

Ученые определили, что большая часть предметов из керамики местного кумранского производства. Причем графика на сосудах из Хирбет Кумрана оказалась сходной с графикой рукописей из кумранских пещер, что, по мнению археологов, говорило о наличии определенной взаимосвязи «хранилища» и «центрального здания» и даже, возможно, о том, что они использовались членами одной общины. В пещерах был найден железный топорик-кирка, который, как отмечал Ролан де Во, соответствует описанному Иосифом Флавием орудию: его носили при себе ессеи и использовали при отправлении естественных потребностей — выкапывали ямку, а потом засыпали ее землей.

Вот и произнесено заветное слово — ессеи! Но кто они такие?

3

Идея о том, что рукописи принадлежали некоей религиозной общине, жившей в Кумране, явилась сразу же. Она была сформулировано еще в начале 50-х годов прошлого века и с некоторыми небольшими коррективами продержалась до настоящего времени. Вскоре после открытия кумранских рукописей ученые припомнили разрозненные сообщения о находках в районе Мертвого моря древних свитков и скрывавшейся там некоей «пещерной секте».

В книге Иосифа Флавия «Иудейская война» запечатлен яркий рассказ об одном из трех самых значительных течений иудаизма того времени — ессеях, стоящих в оппозиции к представителям истеблишмента того времени — саддукеям и фарисеям. Ессеи избегают наслаждений, считая их пороком, добродетелью полагают воздержанность и контроль над собственными страстями. Они

презирают богатство и живут единым сообществом. Все имущество принадлежит всем сообща. Они используют частое омовение для очищения души (обилие ритуальных бассейнов в Хирбет Кумране). Они без устали изучают старинные книги, преимущественно, религиозного содержания (вот и скрипторий, и библиотека). Они ревностно чтут субботу, собираются на ежедневные молебны и трапезы (а вот — трапезная и молебный зал!) Особым почтением пользуется у ессеев их духовный лидер — Законодатель, и его хуление карается смертью. Их богослужения связаны с восходом солнца. Они верят в бессмертие души; если за грехи люди не будут наказаны в этой жизни, в следующей их ждет неминуемое наказание. Интересно, что ессеи расходятся во взглядах на брак. В некоторых сообществах от брака воздерживаются, в других же полагают, что брак допустим, но только для продолжения рода; после зачатия супружеские отношения прекращаются. Все это говорит о наличии каких-то переходных форм в религиозных представлениях жителей Иудеи, особенно часто встречающихся на фоне предчувствия глобальных общественных бедствий.

Вот только в сообщении историка не упомянуто о точной привязке общины ессеев к Иерихону и Мертвому морю. Там сказано только, что «у них нет ни одного города, однако повсюду имеются многочисленные общины...»

Зато точная локализация есть у римского ученого Плиния Старшего (23 -79 годы н.э.)

Он пишет: «На запад от берегов Асфальтового озера (т.е. Мертвого моря) живут *essenī*, замкнутое и странное, если сравнить с другими, племя. *Essenī* живут совсем без женщин, отказавшись от любви, — среди пальм... За ними был город *Engade* (очевидно, поселение Эйн-Геди), второй после Иерусалима по богатству пальмами и рощами, теперь (т.е. в середине I века н.э. — Л.Г.) это груда развалин. Дальше расположена крепость на скале Моссата близ Асфальтового озера...»

Топография Плиния Старшего определенно указывает на район Кумрана.

4

Как мы уже говорили, обилие «общественных помещений» Хирбет Кумрана, а также некоторые другие особенности поселения не могли не навести ученых на мысль, что в комплексе должна

была квартировать религиозная община ессеев. Этого очень хотелось всем, особенно руководителю раскопок священнику Ролану до Во. Христиане желали видеть в ессеях своих предшественников, иудеи — одно из экзотических направлений неортодоксального иудаизма рядом с привычными саддукеями и фарисеями. Задать себе вопрос — почему, собственно, община, а не, скажем, военный гарнизон или рабочая артель? — на библейской земле было как-то неловко. В пользу общины говорила и хорошо отлаженная система водоснабжения с большими бассейнами, оснащенными лестничными спусками. Емкости были немедленно объявлены купальнями для ритуальных омовений — миквами. Правда, потом выяснилось, что такие же хранилища имелись и в других местах в окрестностях Иерусалима, явно не связанных с религиозными отправлениями, а лестницы сделаны для удобства черпания воды, когда ее запасы подходили к концу.

Некоторые находки Хирбет Кумрана, казалось, должны были бы смутить археологов, во всяком случае, несколько поколебать их уверенность в том, что речь идет о религиозной общине. Ну, например, избыток керамической посуды в одной из комнат неподалеку от гончарных мастерских. Зачем столько посуды — кувшинов, чаш, кубков — непьющим общинникам-аскетам? Хорошо сохранившиеся мастерские дают возможность проследить весь производственный процесс и предположить, что керамика могла изготавливаться на продажу.

Значительный интерес представляют остатки костей домашних животных, обнаруженные в Кумране. Скопления костей найдены в различных местах комплекса в горшках или вместе с глиняными черепками; все говорит о том, что они были аккуратно сложены в сосуды. Ученые предположили, что такая аккуратность может быть связана с некими сакральными целями, неизвестными ни из традиционных еврейских источников, ни из документов, найденных в кумранских пещерах. Но, возможно, особый порядок связан с процессом переработки в производственных целях?

Неясно также происхождение большого количества монет, в том числе и нескольких кладов на довольно внушительную сумму, относящихся к разным периодам истории Хирбет Кумрана. Как-то не вяжется религиозная община аскетов с богатыми кладами тирских и кейсарийских тетрадрахм (т.е. монет в четыре драхмы — 17 г серебра).

Кроме того, неподалеку от комплекса были обнаружены кладбища с 1200 могилами, отличающимися от традиционных еврейских захоронений. Немного ли для сравнительно небольшой общины, как ее оценивают археологи? И еще: среди прочих найдены женские и детские останки. Странно? Но стоит ли удивляться: ведь Иосиф Флавий говорит, что среди ессеев есть и общины, признающие брак...

Нужно еще добавить, что в трех километрах от Хирбет Кумрана в руинах оазиса Эйн Фешхи, возможно, также связанных с «пещерной сектой», археологи преступили к систематическим раскопкам в 1956 году. Вскоре там были обнаружены остатки стены, которая, по мнению ученых, служила ограждением для каких-то насаждений, а также строение с остатками керамики, сходной с керамикой Хирбет Кумрана, что подтверждает несомненную связь обоих комплексов. Здание было построено в конце II века до н.э., в конце I века до н.э. оно было покинуто, потом вновь заселено и обитаемо до частичного разрушения в конце 60-х годов I века н.э. Все говорит о том, что комплекс Эйн Фешхи использовался для общественных нужд. Рядом со зданием находился сарай, который, по предположению Ролана де Во, мог быть использован для сушки и обработки фиников. (Вспомним слова Плиния Старшего о том, что ессеи жили среди пальм!) Огороженный пустырь вокруг сарая мог служить загоном для скота, двор по соседству с целой системой бассейнов — кожанной мастерской, а кожи, которые там выделывали, использовались при изготовлении рукописей. Не оставляет ощущение, что, увлекшись «пещерной сектой» или «ессейской общиной», ученые вступили в сферу совершеннейшей фантастики.

5

Найденные в пещерах рукописи толкали археологов дальше по избранному ими пути...

Как мы видели, одной из первых была найдена и попала в руки ученых рукопись «Устава общины», причем в отличие от многих других находок, сохранившаяся почти полностью. Сразу оговоримся, «Устав» — это условное название, которое дали рукописи специалисты, в свитке начало отсутствует. Однако в тексте часто встречается слово «серех» [srk], которое можно перевести как «регламент» или «распорядок». В рукописи излагаются цели общины, правила приема новых членов, вопросы внутренней

жизни, наказаний за проступки и нарушения... Причем отмечается, что правила эти сохраняются вплоть до прихода мессии из дома Аарона и Израиля. Речь идет также об основах учения общины: противостоянии «царства света» и «царства тьмы»... Кроме того, в «первой пещере» была обнаружена рукопись с так называемым текстом «Двух колонок», который начинается словами: «И вот устав для всей общины Израиля в последние дни», ясно указывающими на его эсхатологический характер. При этом в документе говорится о воспитании подрастающего поколения и об обязанностях членов общины в соответствии с их возрастом. Речь идет о женитьбе «общинников» и прохождении ими воинской службы, правда, не понятно в каких частях и какой армии, ибо упоминается, похоже, сражение в конце времен. Но как бы то ни было, устав в тексте «Двух колонок» резко контрастирует с «Уставом общины». Представляется совершенно невероятным, чтобы оба текста принадлежали одному и тому же сообществу людей. Но понимание этого пришло не сразу...

Исключительно важное значение имеет так называемый «Дамасский документ», один из немногих текстов, известный ученым до кумранских находок. Дамаск — место изгнание Нового союза «сыновей Цадока», первосвященника известного из Библии. В документе рассказана история «союза», основы его вероучения, изложена версия истории евреев со времен сыновей Ноаха под углом неких этических оснований. В тексте упоминается «толкователь Торы», указаниям которого необходимо следовать до появления «учителя праведности в последние дни».

Этот список можно еще продолжить, но из сказанного понятно, что несколько самых первых, самых хорошо сохранившихся документов из пещер повествуют о жизни некоей общины... Или общин? И не беда, что разговор в них идет о различных группах людей, — если они и имеют что-то общее друг с другом, то совсем немного; да к тому же все они лишь с большой натяжкой подходят под описания ессеев, сделанных древними авторами. Но все это казалось легко преодолимыми деталями... Особенно будоражило воображение неоднократно упоминающийся в кумранских текстах «толкователь Торы», «учитель праведности»; невозможно избежать соблазна отождествить этот фантом с Иешуа из Назарета, почитаемым христианами как Иисус Христос, Мессия, сын Божий,

или, на худой конец, с Иоанном Крестителем, который и в самом деле, возможно, имел отношение к реальным ессеям.

Всему этому наваждению способствовали и результаты раскопок в пещерах, Хирбет Кумране, Эйн Фешхи, которые провоцировали ученых, поддавшись искушению, проглотить очередную наживку... Можно вообразить, какой сладкой музыкой звучали слова: «скрипторий», «библиотека», «миква», «первохристиане»...

6

Но уже довольно давно, еще в 70-80-е годы прошлого века, ученые начали высказывать сомнения в правильности господствующей «ессейской теории». Говорили, например, что и сам отец де Во сильно сомневался в ней и долго колебался, прежде чем представить ее коллегам. Полный отчет его так и не был опубликован, некоторые его письма и доклады потерялись. Похоже, что французский археолог решил не принимать в расчет некоторые факторы (в том числе и артефакты), противоречащие его теории. В поселке «кумранцев» была найдена красивая посуда, украшения, расчески, даже косметические принадлежности и драгоценности, что подтверждает присутствие в поселении женщин и противоречит версии об аскетах-ессеях и их монастырском образе жизни. Возможно, все это свидетельствует о зажиточности некоторых «кумранцев».

В 90-е годы начались новые систематические раскопки в Кумране, которые предприняли израильские археологи Ицхак Маген и Юваль Пелег. Начали они с анализа снимков местности, сделанных с воздуха, и пришли к выводу, что люди поселились в Кумране совсем не потому, что хотели стать отшельниками и удалиться от мира, — просто это место было самым удобным для создания поселения. Вся окрестная территория подвержена опасности наводнений в зимнее время: низины находятся под ударом водных потоков с гор. Кумран же расположен на вершине холма, и при этом открывалась возможность использовать стекающую с гор воду.

По мнению археологов, с начала I века до н.э. Кумран служил крепостью: комплекс расположен не на отшибе, как считалось до сих пор, наоборот, он господствует над всем пространством вокруг Мертвого моря и предоставляет возможность прекрасного обзора

окружающей местности. Ученые полагают, что Кумран в то время был звеном в общей цепи укреплений. Следующий этап начался в 63 году до н.э. с приходом к Мертвому морю римлян и закончился после поражения в Первой Иудейской войне. В этот период здесь работала крупная гончарная мастерская, что подтверждается большим количеством различных глиняных сосудов и наличием печей для обжига глины. Но где было взять столько материала для гончарного производства? Оказывается, сильные зимние дожди приносили глину и песок вместе со сточной водой из окрестных ущелий. Для этого была создана целая система водоснабжения с фильтрами и оборудованными местами забора воды. Под одним из бассейнов археологи обнаружили несколько тон отличной глины, из которой они в порядке эксперимента соорудили несколько глиняных кувшинов.

И. Маген и Ю. Пелег вообще отрицают возможность жизни в этих местах большой общины. Чтобы накормить 200-250 человек в течение 170 лет, по подсчетам археологов, потребовалось бы около 100 тысяч голов овец, да еще мука, овощи, фрукты... Для этого пришлось бы использовать около 30 печей, а найдено всего четыре-пять. Две сотни человек должны где-то спать, где-то сидеть во время приема пищи...

Археологи отрицают возможность жизни ессеев в пещерах, как об этом говорят некоторые специалисты; ведь речь идет о людях, соблюдающих культ чистоты, а это вряд ли осуществимо в пещерных условиях. Да к тому же в окрестных скалах обитали хищники, в том числе дикие кошки, даже львы. Ролан де Во и его коллеги объясняли обилие костей в Кумранском комплексе какими-то сакральными целями, возможно, жертвоприношениями. Маген и Пелег утверждают: по костям видно, что мясо варилось и жарилось для употребления в пищу. Опасаясь привлечь крупных хищников, «кумранцы» складывали кости в глиняную посуду и закапывали прямо на территории комплекса. С наступлением темноты люди просто боялись выходить наружу. То же самое они делали и с отходами фиников, которые использовались для производства меда.

При этом совершенно непонятно, зачем «кумранцам» хранить в пещерах свою рукописную библиотеку. К чему подвергать себя опасности встречи с хищниками или римскими легионерами, которые во многих случаях оказывались ничуть не лучше хищников?

Почему бы не хранить библиотеку прямо в комплексе, оборудовав специальный тайник на случай опасности? К тому же в пещерном хранилище не было обнаружено никакой системы, присущей всякой библиотеке; наоборот, там во всем ощущается беспорядок, просто хаос... Рукописи явно прятались поспешно. Скорее можно предположить, что, предвидя осаду Иерусалима, жители города спасались бегством и прятали свитки в горах.

Как мы уже видели, далеко не все рукописи Кумрана носят есеевский отпечаток, — есть ощущение, что они отражают различные религиозные взгляды своего времени. Конечно, среди спасавшихся от римлян израильтян могли быть и ессеи, почему бы и нет. Вот им то и принадлежала, вероятно, есеевская часть сочинений. Иосиф Флавий пишет, что ессеи жили во многих городах Иудеи, в том числе и в Иерусалиме. Как отмечают ученые, такая гипотеза вовсе не умаляет огромного значения кумранского открытия, скорее, наоборот: книги принадлежали не одной какой-то секте, а разным иудейским течениям, жившим в конце эпохи Второго Храма.

7

И вот уже в нынешнем веке явилась новая сенсация. Археолог Ханан Эшель из университета Бар-Илан обнаружил в районе Мертвого моря фрагменты свитка, чей возраст составляет почти две тысячи лет. И это при том, что с 1965 года здесь больше свитков не находили. По словам Эшеля, два маленьких кусочка потемневшей кожи, на которых на древнем иврите написаны стихи из Книги Левит, одной из книг Пятикнижия Моисея, были найдены в пещере Нахаль Аругот близ Мертвого моря, где повстанцы Бар Кохбы скрывались от римлян во II веке нашей эры.

Впервые эти фрагменты показали профессору Эшелю еще в 2004 году во время тайной встречи, организованной в заброшенном здании полицейского участка около Мертвого моря. Бедуин, которому на черном рынке предложили 20 тысяч долларов, хотел получить экспертную оценку специалиста. Археолог, работавший в Иудейской пустыне с 1986 года, был потрясен. Поскольку он не мог предположить, что когда-нибудь увидит эти фрагменты еще раз, исследователь настоял на том, что должен сфотографировать их, полагая, что в ближайшее время их контрабандой вывезут из страны.

Каково же было его удивление, когда в марте 2005 года, он узнал, что части свитка по-прежнему находятся у того самого бедуина. Х. Эшель приобрел их всего за 3 тысячи долларов, предоставленных для этой цели университетом Бар-Илан, и передал находку в Управление древностей. Археолог заявил, что купленные им фрагменты — часть так называемого 15-го свитка, чей возраст совпадает по времени с восстанием Бар-Кохбы против римлян.

Бежавшие в Иудейские горы воины Бар-Кохбы скрывались в пещерах два-три месяца, пока часть из них не была взята в плен римскими легионерами, а часть не сумела убежать в Галилею.

«Известно, что свиток Книги Левит раскатывают с двух сторон и читают лишь срединную его часть, — пишет израильский писатель Эфраим Баух. — Один из ассистентов профессора Эшеля, Иосси Брухи, открыл, что огонь сжег лишь скатанные края свитка, впитавшие в себя влагу, а срединная часть осталась сухой и уцелела. Из текста Левита ясно, что он был последним, который беженцы Бар-Кохбы произносили до своего побега — его читают в Песах (так называемую «еврейскую Пасху» — Л.Г.). Таким образом, стало ясно, что беженцы читали этот отрывок весной 135 года новой эры в дни праздника. Остатки диких сезонных плодов в пещерах, созревающие в сентябре-октябре, указывали на то, что беженцы покинули пещеры осенью. Обрывки 15-го свитка опровергают это предположение, указывая на то, что беженцы вели нормальную религиозную жизнь до весны. Этого мы до сих пор не знали. Теперь ясно, что в течение лета 135 года новой эры они готовились к бегству, ибо жизнь их стала невыносимой».

Исследования показали, что находка состоит из двух обрывков пергамента оленьей кожи величиной от пяти до семи сантиметров. Пергамент сохранился в течение двух тысяч лет и был покрыт слоем пыли и катышками испражнений летучих мышей.

В двух этих обрывках фрагменты 36 строк из Книги Левит.

В первом обрывке - стихи 38-39 из 23-й главы книги (курсивом отмечены слова, сохранившиеся на пергаменте):

«...**Кроме всех обетов и** кроме всего приносимого вами по усердию вашему, что вы даете Господу.

А в пятнадцатый день седьмого месяца, когда вы собираете произведения земли...»

Во втором обрывке — стихи 41-44 из той же 23-й главы:

«И празднуйте этот праздник Господень **семь** дней в году: это постановление вечное **в роды ваши**. В седьмой месяц празднуйте его.

В кущах живите семь дней; всякий живущий в Израиле, должен находится в кущах,

Чтобы знали роды ваши, что в **кущах поселил** Я сынов Израиля, когда вывел их **из земли** Египетской. Я Господь, Бог ваш.

И объявил **Моисей** сынам Израиля о праздниках Господних».

Из книги «Голос пустыни. Исход из Египта: современный взгляд»
(СПб.: Алетейя, 2014)

Палестинский неандерталец. Исчезновение

Останки «ископаемого человека» были обнаружены в 1856 году в долине Неандерталь в Германии рабочими местной каменоломни и исследованы немецким естествоиспытателем Иоганном Карлом Фюльроттом. Открытие вызвало большой интерес среди ученых и не напрасно: полной ясности у нас нет и сегодня.

1

Долгие годы под влиянием дарвинистов (а в Советском Союзе дарвинизм наряду с марксизмом величали «единственно правильным учением») неандертальцев считали «нашими предками». Однако ученые высказали предположение, что «предок» является подвидом биологического вида *homo sapiens*, и в отличие от современного человека — *homo sapiens sapiens* (человек разумный разумный) его стали называть *homo sapiens neanderthalensis* (человек разумный неандертальский). В конце прошлого века сравнительные исследования ДНК современного человека и неандертальца показали, что это совершенно самостоятельный вид рода *Homo*. Если у нас и был какой-то общий предок, чего, впрочем, еще никто не доказал, то они разошлись на пресловутом древе эволюции более 600 тысяч лет назад. Но, скорее всего, эволюционная теория Дарвина, о которой нам в середине прошлого века с жаром рассказывали учителя биологии в школе, в будущем будет восприниматься как некая очень красивая версия реальности. На самом же деле на земле с давних времен существовали параллельные виды *Homo*, имевшие различную генеалогическую основу. Неожиданно выяснилось, например, что на весьма длительном историческом отрезке неандерталец и наш непосредственный предок, так называемый кроманьонец, жили параллельно, рядом, чтобы не сказать бок о бок. Выяснилось также, что внутри вида *homo neanderthalensis* существовали подвиды — два, а то и больше. Сегодня их называют — первый — ранними или пранеандертальцами, второй — классическими или западно-европейскими неандертальцами.

«Ранние неандертальцы» вступили в пору своего расцвета около 150 тысяч лет назад. Ученые полагают, что их облик был близок внешности современного человека: вертикально вытянутое лицо, круглый затылок, смягченный надглазничный валик, выпуклый лоб,

большой объем мозга (1400-1450 см куб.), близкий по величине к мозгу современного человека. Ранний неандерталец, как и современный человек, отличался значительной вариативностью черт у разных особей внутри популяции, в том числе иногда и очень высоким ростом. Возраст классических неандертальцев — около 80-35 тысяч лет, т.е. время последнего оледенения. Считается, что в отличие от раннего неандертальца его облик был весьма архаичен; ученые указывают на сильно развитое надбровье, широкий нос, приплюснутый сверху затылок с угловатым контуром и затылочным валиком, слабо обозначенный подбородочный выступ. Считается, что это явилось следствием сурового климата или каких-то еще неблагоприятных условий.

В свете теории эволюции все это кажется весьма загадочным: как же так, ранний неандерталец по своим эволюционным признакам оказывается ближе к современному человеку, чем его «более поздний» собрат! Некоторые ученые полагают, что в относительно теплый период некоторые группы ранних неандертальцев переместились из южных регионов, в том числе из Ближнего Востока и Передней Азии, в Европу, где они оставили после себя след так называемой Мустьерской культуры, единственной на земле не человеческой или, во всяком случае, не совсем человеческой культуры. Во время оледенения климат в Европе изменился, приходилось приспосабливаться к новым условиям. В результате рост особей уменьшился, нижние конечности стали короче и, главное, появляется изогнутая бедренная кость, которой у других Номо никогда и нигде не наблюдалось.

Разумеется, ранние неандертальцы, оставшиеся на Ближнем Востоке, также претерпели некоторые изменения, но... в другом направлении.

Долгое время ученые спорили, обладали ли неандертальцы членораздельной речью. До сих пор существует мнение, что умение «говорить по-человечески» и есть главный отличительный признак людей современного типа. находка археологов в одной из пещер на горе Кармель в Израиле дает утвердительный ответ на этот вопрос: о наличии речевых навыков у неандертальцев убедительно свидетельствует присутствие у основания языка так называемой гиоидной (или подъязычной) кости в черепе ископаемого существа, жившего около 60 тысяч лет назад. Эта кость является ясным

свидетельством того, что ее обладатель был способен к членораздельной речи.

Скелет неандертальца из Кармель ставит перед учеными новые загадки. Дело в том, что при жизни эта удивительная особь сломала себе несколько ребер, возможно, во время охоты или при каких-то других невыясненных обстоятельствах. В этом нет ничего необычного, кроме того, что травма эта была кем-то излечена. Кем же? Да кем же еще, кроме соплеменников! Это обстоятельство как-то не укладывается в научнообразные рассказы ученых прошлого века, перекочевавшие в школьные учебники и популярные брошюры, о дикости и свирепости «ископаемых людей» вообще и неандертальцев в особенности. Мы, конечно, знаем, что в некоторых сообществах неандертальцев имел место каннибализм. Между прочим, этот факт доказывает их близость к людям, — животные ведь своих сородичей не едят. И все же — с этим не поспоришь! — лечить своего соплеменника могли только существа стоящие на определенной ступени нравственного развития. Можно предположить, правда, что этот неандерталец чем-то заметно отличался от своих современников, и окружающие считали его кем-то вроде пророка... И потому с особым тщанием заботились о нем... Но тогда мы вступим в область совсем уж отвлеченных догадок. Не проще ли предположить, что в некоторых сообществах неандертальцев существовали тесные кланово-родовые узы, не исключавшие, как мы бы теперь сказали, заботу о ближнем.

Это подтверждает еще одна находка в Израиле, так же на Кармеле, на этот раз в пещере Схул: череп одиннадцатилетнего мальчика пролежал там около 95 тысяч лет. Ученые выяснили, что за несколько лет до смерти ребенок получил очень тяжелую травму головы. Однако соплеменники и на этот раз излечили рану, несмотря на то, что лечение требовало немалых усилий не только целителей, но и многих окружающих людей. Достаточно сказать, что долгое время ребенку приходилось оставаться неподвижным. Как это могло сочетаться с обязательной миграцией племени вслед за стадами животных?

Можно считать доказанным, что палестинский неандерталец обладал, во-первых, умением исцелять своих сотоварищей, и во-вторых, что может быть еще более важным, желанием (или, если угодно, нравственной потребностью) совершать исцеление.

Именно на стоянках неандертальцев мы впервые сталкиваемся с осознанным погребением соплеменников, т.е. тела покойных не просто выброшены как ненужный хлам, — они захоронены в соответствии с представлением своего времени, то есть с существовавшим тогда регламентом. В той же пещере Схул вместе захоронены десять неандертальцев — пять мужчин, две женщины и трое детей, причем все тела в этой «братской могиле» помещены в определенном скорченном состоянии. У 45-летнего мужчины (древнего старика по неандертальским меркам) в руках челюсти огромного кабана. Потрясающую находку сделали археологи в пещере Шанидар в Ираке, где были найдены могилы девяти неандертальцев, захороненных около 60 тысяч лет назад. В одной из них мужчина был положен на подстилку из сосновых веток и сверху засыпан цветами, некоторые из которых и сегодня используются как лекарственные растения. Что это значит? На могилу были положены живые цветы? Похоже на то... Ученые сделали такой вывод по форме распространения пыльцы. Историк Андрей Низовский иронизирует по этому поводу: мол, в сознании с трудом укладывается сюжет «неандертальцы, возлагающие цветы на могилу товарища».

Но шутки в сторону: если и в самом деле определять «степень человечности» по тому, как сообщества индивидуумов относятся к своим больным и мертвым, не исключено, что некоторые группы неандертальцев этот тест выдержали бы.

2

Неандертальцы исчезли около 30 тысяч лет назад, уступив дорогу иной популяции — *Homo sapiens sapiens*, иными словами «человеку современного типа». В науке и популярных изданиях принят термин «кроманьонец», по названию пещеры Кро-Маньон во Франции, где в 1868 году, впервые был обнаружен череп и несколько костей человека, жившего более тридцати тысяч лет назад.

Можно ли говорить об эволюции?

Кроманьонец — никакой не «ископаемый предок», известный нам из учебников истории; это — в широком понимании — такой же человек, как и мы, практически ничем не отличающийся в своем анатомическом строении от современного человека.

Было бы совершенно неверно думать, что все особи, жившие на земле в те времена (от 40 до 10 тысяч лет назад) были совершенно идентичны. Взглянем вокруг: разве похож скандинав на африканца, японец на араба? Нечто подобное было и тогда... И когда «реконструкторы» демонстрируют нам очередную звероподобную образину, называя ее нашим «ископаемым предком», верить им не стоит. Даже сегодня, не говоря уже о середине прошлого века, когда писались школьные учебники, по которым мы учились, найдено всего несколько сот останков кроманьонца разной степени сохранности и комплектности. Это и много, и мало. Представьте себе, что некий археолог далекого будущего найдет останки китайца, причем необязательно в Азии, может быть, в Европе или Америке, и на этом основании будет делать вывод о внешнем облике и анатомическом строении всех европейцев или американцев. Нечто подобное происходило и в нашей науке с кроманьонцами. Сегодня очевидно, что люди, населявшие землю в ту далекую пору, довольно сильно отличались друг от друга. Ученые различают некоторые физические типы — «человек из Брно-Пржемоштя» (Чехия и Словакия), «человек из Комб-Капель» (Франция) и другие. Все они, однако, несомненно принадлежат к виду *Homo sapiens sapiens*. Современный человек явился на свет *разным*.

Некоторое время, но, вероятно, недолго по историческим меркам, всего около 10 тысяч лет, неандертальцы и кроманьонцы жили на земле параллельно и даже просто рядом во времени и в пространстве, как это было, например, на Ближнем Востоке. Останки и тех и других иногда обнаруживаются в близких археологических горизонтах на одной и той же стоянке. Однако около 30 тысяч лет назад неандертальцы исчезли. На вопрос «почему?» существует несколько ответов: изменение климата, эпидемии, проигранная конкурентная борьба с кроманьонцами... Это всего лишь гипотезы. И потом, что значит «исчезли»? Это всего лишь означает, что в более поздних археологических слоях останки неандертальцев пока не обнаружены. Вымерли ли они полностью или какое-то время отдельные их сообщества оставались на земле?

Мы помним с детства картинки в учебнике древней истории, на которых изображена эволюция орудий труда ископаемого человека от простых каменных рубил и скребел к более сложным костяным ножам и иглам. Все это оказалось праздными домыслами

эволюционистов. Сегодня ученые уверяют, что неандертальцы, которые прожили на Евро-Азиатском континенте сотни тысяч лет, не создали орудий труда, даже отдаленно напоминающих тех, что были у кроманьонцев с «самого начала» их появления на сцене истории. Означает ли это, что неандертальцы были глупее? Нет, конечно. Просто они были *другими*, и их условия жизни не предполагали кроманьонской оснастки.

Но откуда же появились неандертальцы? Эволюционировали с помощью трудотерапии из разных «хабилисов» и «эректусов»? Но это не подтверждается ни археологическими, ни антропологическими свидетельствами. Вообще наукой не зафиксировано чего-то такого «среднего между обезьяной и человеком». Мифическое чудовище «обезьяночеловек», придуманное дарвинистами и перекочевавшее затем в популярные брошюры и школьные учебники, оказалось чистой фикцией, не нашедшей аналогов в реальной истории.

3

Впервые рефаимы (рядом с некими Зузимами и Эмимами) упоминаются в знаменитом фрагменте Книги Бытия, так называемом «Бытие 14», рассказывающем о народах, проживающих предположительно к востоку от Мертвого моря и противостоящих коалиционной армии северных царей во главе с Кедорлаомером.

Также в Бытии рефаимы упомянуты в списке десяти народов Ханаана, которые согласно Высшему Обетованию будут завоеваны потомками Авраама на территории от «реки Египетской до реки великой, реки Прат» (Быт.15;19).

Кое-какие подробности мы узнаем о рефаимах в Книгах Чисел и Второзакония. Рефаимы — «народ великий, многочисленный и высокий, как великаны» — жили в Моаве в Заиорданье. Моавитяне называли их Эмимами (Втор.2;11). Однако «коренной» землей рефаимов скорее всего был Аммон; они жили на этой земле прежде аммонитян. Но Господь истребил рефаимов, аммонитяне же «наследовали» им, поселившись «вместо них» на этой земле. Жители Аммона называли их замзумами (может быть, зузимами?) (Втор.2; 20,21).

По смыслу текста не похоже, чтобы аммонитяне разгромили рефаимов на поле брани. Просто они заняли территории, по какой-

то причине освободившиеся от прежних хозяев. Второзаконие уточняет: то же самое Господь «сделал для сынов Эсава», сына Ицхака и Ривеки, брата Иакова, «истребив» хореев. «И сыны Эсава наследовали им землю на горе Сеир, которые поселились вместо них» (Втор.2;22). Как видим, речь идет о прецеденте.

Ко времени завоевания израильтянами Ханаана в северном Заиорданье в Башане царствовал «великан» Ог, проигравший войску Моисея битву при Эрдеи. О нем сказано, что «только Ог, царь Башанский, остался из Рефаимов» (Втор.3;11), хотя Башан «называли землей Рефаимов» (Втор.3;13). Стало быть, некогда рефаимы жили там густо. И снова — прозрачный намек на исчезновение рефаимов в Заиорданье.

Однако незадолго до перехода через Иордан Моисей говорит израильтянам, что им предстоит новая встреча с «народом великим и высокорослым, сынами великанов» (Втор.9;2). В русском синодальном переводе Библии вместо «великан» мы встречаем имя (или эпоним) Енак, ивритский аналог Анак. Кто такой этот Енак-Анак, мы в точности не знаем, но очевидно одна из ключевых фигур в ранней истории рефаимских кланов.

Когда в начале Исхода (середина XIII века до н.э.) Моисей послал разведчиков в Ханаан, в районе Хеврона они обнаружили клан «детей Анака» — три семейства Ахиман, Шейшай и Талмай, весьма напугавших израильтян своим огромным ростом. (Числ. 13;21)

В официальном донесении вождю разведчики лишь констатировали факт: «Детей Анака, великанов, мы видели там» (Числ. 13;28). Однако в закулисных комментариях («худой молве»), распространявшихся среди «сынов Израиля», они дали волю воображению, не поскупившись на красочные подробности: «Мы были в глазах своих саранчой, такими же были мы в их глазах» (Числ. 13;33). Если отодвинуть в сторону эмоции перепуганных разведчиков, из донесения и комментариев можно понять, что речь идет о немногочисленной группе высокорослых людей, живших неподалеку от Хеврона и, вероятно, как-то связанных родовыми узами с рефаимами из Заиорданья.

Вот, пожалуй, и вся информация, которую мы можем почерпнуть из Пятикнижия об этом удивительном народе. В последующих книгах Библии сведений о них тоже немного. В частности мы узнаем, что в ходе завоевания израильтянами Ханаана

Калев, один из полководцев армии Иисуса Навина, преемника Моисея, разгромил ополчение «Шейшая, Ахимана и Талмая из рода Анака» и занял Хеврон (Нав. 15;14). Иисус разбил «великанов» повсюду: «истребил анаков с горы» и вообще со «всех гор Израильских с городами разгромил их...» (Нав.11;21). Остатки «анакон» обосновались в городах Газе, Гате и Ашдоде на побережье Средиземного моря в землях, в XIII веке до н.э. захваченных филистимлянами. В дальнейшем воинов-анакон (рефаимов) мы встречаем в войсках филистимлян, противников Израиля в их бесконечных войнах, которые вел сначала первый израильский царь Саул, а потом и сам Давид уже в X веке до н.э. Причем в повествовании подчеркиваются следы генетического вырождения последних рефаимов, имеющих, к примеру, по шести пальцев на руках и ногах. Считается, что одним из последних анаков был богатырь Голиаф, убитый Давидом в поединке.

Как видим, историю рефаимов Библия представляет как деградацию «великого и многочисленного народа», с незапамятных времен обитавшего в Прииорданье, до почти полного его исчезновения с исторической сцены после X века до н.э.

Кто такие эти загадочные рефаимы — люди огромного роста и недюжинной силы, которых смогли победить не столько их враги, сколько сама природа? Откуда они взялись?

Конечно, проще всего предположить здесь литературно-историческую метафору, обычную для мифопоэтического повествования древних текстов. Смущает, правда, совсем не героический антураж, будничность изложения, стремление к простой фиксации фактов. Пятикнижие — не миф, не эпос, вообще не литература в том смысле, в каком мы понимаем это слово...

Многочисленные находки ископаемых костяков и черепов в Палестине, особенно на горе Кармель, свидетельствуют о наличии в них некоторых особых свойств, позволивших ученым выделить «палестинского неандертальца» едва ли не в особый вид класса «homo». Считается, что особи, проживавшие в этом регионе, сочетали в себе сапиентальные (человеческие) и неандерталоидные признаки. Может быть, проживание кроманьонцев и неандертальцев в течение десятков тысяч лет рядом на небольшой территории Восточного Средиземноморья стало причиной интербридинга — смешения людей неандертальского и

современного типов. Потомство, получившееся в результате такого смешения, должно было обладать многими признаками неандертальцев, в том числе высоким ростом и большой силой. При этом довольно трудно установить, являются ли «сыны Анака», «анаки», особой разновидностью среди рефаимов или просто это иное название популяции.

По мнению некоторых ученых, исчезновение рефаимов между XIII и X веками до н.э. произошло не только в связи с военными успехами израильтян, но и по естественным причинам — отсутствием в составе крови неандертальца факторов, обеспечивающих генетическую стабильность.

«В конкуренции между родственными видами, или расами, — пишет историк Андрей Низовский, — наличие в крови антител является мощным генетическим преимуществом для тех, кто ими обладает. История имеет множество примеров, когда аборигены разных континентов, вступая в контакт с европейскими поселенцами, тысячами гибли от эпидемий, так как у них в крови не было антител против подобных болезней...»

Кроме того, при такой ситуации возникают и серьезные проблемы при воспроизведении рода. Анализ всех этих явлений может служить поводом для серьезных исследований, находящихся далеко за пределами нашего повествования.

Однако пагубные последствия социальных и биологических факторов для народа рефаимов налицо. Вероятно, в результате войн и генетического вырождения численность популяции с каждым поколением катастрофически уменьшалась, пока ее существование не прекратилось вовсе. Остался ли на сегодняшний день от рефаимов хоть какой-то след на земле, например, в виде пресловутого «снежного человека»? Или только легенды в мифах разных народов и отзвуки былых событий библейской истории?

Пока эти вопросы остаются без ответов...

Из книги «Израиль и Фараон» (Ростов н/Д: «Феникс», Краснодар: «Неоглори», 2009)

Равновесие с пробелами

Теория катастроф в свете библейской традиции

Сегодня много говорят и пишут о том, что традиционная теория эволюции природы и человека не в состоянии ответить на многочисленные вопросы, появившиеся в последнее столетие в результате накопления научных знаний и просто наблюдений за происходящими в природе и космосе явлениями. У ученых, придерживающихся нетрадиционной, альтернативной точки зрения, обнаружились фундаментальные претензии к своим коллегам-традиционалистам. Ведь пресловутые «недостающие звенья эволюции» так и не найдены, несмотря на многочисленные обещания и надежды. Дарвинизм, который базируется на предположении, что все сущее имеет в своей основе материю, не объяснил, откуда появилось сознание: вряд ли оно смогло бы сформироваться в процессе естественного отбора — возможности человеческого разума далеко превосходят то, что необходимо только для выживания.

Дальше — больше.

1

По мнению ученых, придерживающихся господствующей теории, резких смен цивилизаций на земле не существовало, человечество развивалось постепенно, эволюционным путем. Меньшинство — те, кого часто именуют дилетантами и шарлатанами — все громче говорит о катастрофизме как стандартной модели развития как природы, так и человека, являющегося частью природы. Они утверждают, что непрерывность жизни на планете внезапно блокировалась, и тогда происходили «скачки», нарушающие эволюционный процесс развития. Теорию, согласно которой историю нашей планеты можно представить в виде длительных периодов стабильных состояний, время от времени прерываемых внезапными, часто радикальными изменениями, вызванными катастрофическими событиями — активной вулканической деятельностью, падением астероидов, изменениями планетарной температуры и т.д. — иногда остроумно называют «равновесием с пробелами».

Впрочем, и «официальная» наука не отрицает, что на земле действительно происходили катастрофы различной разрушающей

силы, вплоть до глобальных, космических. Такое отрицание выглядело бы весьма странно: ведь Земля – часть Вселенной, а катастрофы во Вселенной астрономы наблюдают едва ли не ежедневно. Классическая катастрофа, ставшая общим местом в околонучном дискурсе, связана с вымиранием динозавров за очень короткое время 65 миллионов лет назад. Другой «хрестоматийный» пример, относящийся к совсем близким по историческим меркам временам, — падение Тунгусского метеорита 1908 году. Но, пожалуй, вряд ли какое-либо другое событие в мировой истории обсуждается с такой неутраченной веками страстью как исчезновение Атлантиды, описанной Платоном. Была ли эта Атлантида вообще, и, если была, то где находилась — об этом, кажется, можно спорить бесконечно.

Немало описаний катастроф есть и в Библии. Среди писателей, посвятивших себя проблемам «катастрофизма» в библейской истории самым значительным — и по масштабам литературного дарования, и по грандиозности воображения — является без сомнения американский психоаналитик Иммануил Великовский, создатель книг «Века в хаосе», «Миры в столкновении» и ряда других. Сегодня, несмотря на скептическое отношение к его творчеству большинства ученых, альтернативная наука признает его своим «гуру». Но как бы там ни было, в Библии действительно приведены описания катастроф разного масштаба, самой грандиозной из которых бесспорно является Всемирный потоп, согласно Книге Бытия, круто изменивший не только сценарий развития человеческого общества, но и саму природу человека.

«И был потоп на земле сорок дней, и умножилась вода... (Быт.7;17) И вода усилилась на земле чрезвычайно, и покрылись все высокие горы, которые под всем небом. На пятнадцать локтей вверх поднялась вода, и покрылись горы. И погибла всякая плоть, движущаяся по земле, из птиц, из скота, из зверей и всех гадов, ползающих по земле, и все люди (Быт.7;19-21)».

Важным доказательством всемирного характера библейского катаклизма, по мнению ученых альтернативного направления, является повсеместное распространение легенд и преданий о Потопе от Аляски до островов Океании, включая американских индейцев и аборигенов Австралии. Конечно, эти рассказы серьезно расходятся в деталях, но практически везде говорится, что Земля

была полностью затоплена, и только несколькими ее обитателям удалось спастись.

Дэвид Льюис, один из авторов книги «Запретная история» (М.: АСТ: Астрель, 2011), составленной из статей ученых альтернативного направления в журнале «Атлантис Райзинг», полагает, что важное значение имеют сведения о совпадении глобального потепления около 9645 года до н.э., сопровождавшегося поступлением огромных масс пресной воды в Мексиканский залив, а также информация Платона о погружении Атлантиды в воду — с гипотезой о мощном ударе о Землю астероида или иного астрономического объекта около 10 тысяч лет до н.э., вызвавшего внезапное окончание ледникового периода, что и привело к Потопу.

Если бы такая теория подтвердилась, это означало бы, что в не столь отдаленном прошлом Земля подверглась разрушительному воздействию вследствие события, возможно, ставшего частью какой-то космической катастрофы. Д. Льюис подчеркивает: «Последовало массовое вымирание растительности и животных, а также вызывающая суеверный страх глобальная темнота». Причем, как свидетельствуют некоторые исследования, катастрофа произошла внезапно. «Люди, которым удалось выжить, искали убежища в горных пещерах, — продолжает исследователь. — Сообщения об их бегстве сохранились до наших дней в сотнях древних мифов о потопах и пожарах — фактически такие мифы имеются у каждого народа».

Есть такая история и в библейской Книге Бытия: племянник патриарха Авраама Лот, после страшной катастрофы в Содоме спасается в близлежащем городе Цоаре, затем бежит в горы и укрывается в пещере; причем ни он сам, ни его дочери не подозревают, что на всей Земле, кроме них, выжил еще кто-то.

Традиционная наука объясняет «неопровержимые свидетельства о великом катаклизме X тысячелетия до н.э.» движением и таянием ледников. Однако, по мнению «нетрадиционалистов», с помощью только этих событий невозможно объяснить «нечто экстраординарно ужасное», что обрушилось на планету, «стирая с лица земли большинство млекопитающих, обитавших во всем мире, поднимая горные хребты, вызывая повсеместное извержение вулканов, прорезая долины и фьорды, разбрасывая по всей суши огромные камни».

Авторы книги «Запретная история» приводят слова историка Дж.Б. Делеира: «Эволюция не всегда может считаться следствием выживания наиболее приспособленных. Возможно внезапное событие, которое может стереть с лица Земли не только лучших, но и худших. В этих случаях выживают самые удачливые».

2

Все чаще в разных источниках приводятся свидетельства существования древнейшей земной цивилизации, ставшей жертвой глобальной катастрофы огромной силы. Как правило, речь идет об удивительных технологиях каменного строительства, позволяющих достичь весьма впечатляющих результатов даже в сравнении с современной строительной индустрией. Приводятся также и другие поразительные факты.

Исследования альтернативных ученых показали, что эрозия в фигуре и постаменте Большого Сфинкса в Гизе объясняется затяжным выпадением осадков, а не длительным воздействием песка и ветра, как это принято считать. По их мнению, самые старые фрагменты древней скульптуры следует датировать по меньшей мере на 2500 лет ранее, чем считалось до сих пор, — периодом между 7000 и 5000 годами до н.э., поскольку в дальнейшем в регионе не выпадало значительных осадков в виде дождя.

В качестве важных доводов в пользу существования доисторической цивилизации приводится также наличие развитых поселений на Ближнем Востоке в IX-VIII тысячелетиях до н.э. (Иерихон) и Анатолии в VII тысячелетии до н.э. (Чатал-Гююк), а также весьма древних грандиозных мегалитических сооружений, в том числе и астрономически ориентированных.

В России проблемами «працивилизации» занимался известный исследователь и путешественник Андрей Складов (1961-2016), который в своих фильмах задает немало вопросов, на которые у специалистов либо вовсе нет ответов, либо они их тщательно скрывают.

Ну, например: каким образом мастера Древнего Египта делали рельефные надписи и рисунки в подземных бункерных сооружениях, — как в обширных залах, так и узких штольнях, — притом, что никаких следов копти на стенах и на потолках никто никогда не обнаруживал? Они, что, пользовались электричеством или каким-то иным искусственным освещением?

Или — еще: каким образом им удавалось с микроскопической точностью обрабатывать трехплоскостные углы гранитных саркофагов и другие сложные профили с помощью медного зубила, если и сегодня повторить это не могут высококвалифицированные специалисты, оснащенные передовой современной техникой... И это далеко не все.

Как подчеркивает А. Скляр, «странные» артефакты можно найти по всему миру, что невозможно объяснить ни чем, кроме как существованием на земле высокоразвитой цивилизации, неважно, доморощенного или инопланетного происхождения.

В библейской Книге Бытия мы также находим свидетельства существования «допотопной цивилизации», но если современные исследователи рассуждают о ней с точки зрения науки и производства, то Библия говорит преимущественно о нравственно-этических проблемах, ставших причиной грандиозного катаклизма — Всемирного потоп.

Но, если свидетельств существования древних цивилизаций на земле так много, то не могут же, в самом деле, «ортодоксальные» ученые совсем не замечать никаких «исторических аномалий», пусть даже результаты наблюдений не соответствуют устоявшимся взглядам. Имеются ли сегодня в распоряжении науки факты, которые, с одной стороны, невозможно подвергнуть сомнению, но, с другой, пока трудно подыскать им какое-то адекватное объяснение?

Вот, например, всем доступные факты говорят о том, что в середине V тысячелетия до н.э. на огромной территории Европы, Северной Африки и Ближнего Востока существовала так называемая культура мегалитов, очевидно, принадлежавшая какому-то древнему сообществу мореплавателей. Огромное количество мегалитических сооружений от Британии до Леванта имеют слишком много общих признаков, что не позволяет думать о совпадениях в стиле.

Но что это были за люди? Сколько их было? На каком языке они говорили? Мыслимо ли, что в столь давние времена на всей этой территории проживал один народ, говоривший на одном языке?

Некоторые ученые полагают, что ответы на эти вопросы могут лежать отнюдь не в этнической плоскости: скорее всего, это вообще не народ, а каста профессиональных жрецов или волхвов, небольшими группами уходивших в плавание по Средиземноморью

и Атлантике с тем, чтобы обращать в свою веру местное население. Интересно, что изначально некоторые одиночные памятники, располагались на побережье таким образом, чтобы от одного можно было видеть другой, от другого — третий и т.д. Получалось некое подобие продуманной сигнальной системы.

Носители культуры мегалитов обладали большими знаниями в области астрономии, сельского хозяйства и, конечно, они были выдающимися строителями. Невозможно вообразить, сколько усилий приходилось тратить на то, чтобы переместить огромные каменные глыбы, весящие десятки, а иногда даже больше сотни тонн. Причем часто мегалитические сооружения расположены там, где поблизости вообще нет скалистой или горной местности, и следовательно многотонный стройматериал приходилось доставлять издалека. Но каким образом? Ведь носители культуры мегалитов действовали на тысячу лет раньше, чем строители египетских пирамид, подчас на территориях малонаселенных, а то и почти безлюдных. Особую загадку представляют собой «поля мегалитов» — составленные из камней сложные «рисунки» и «схемы», которые можно разглядеть только с высоты птичьего полета. Вопросов много, вместо ответов — лишь многочисленные гипотезы.

В Пятикнижии имеется поразительный стих — в том месте, где речь идет о завоевании израильтянами территорий в Заиордании. При описании военной кампании в царстве Башан неожиданно упоминается «железный одр» Башанского царя-исполина Ога, причем в тексте указано его точное месторасположение и размеры. «Вот одр его, одр железный, он в Раббе сынов Аммоновых: девять локтей длина его и четыре локтя ширина его, по локтю возмужалого» (Втор. 3;11), т.е. взрослого человека, иными словами, более четырех метров в длину и около двух в ширину.

В районе реки Иордан мегалитические сооружения, так называемые дольмены, нередки. Они сложены из вертикально расположенных каменных плит, сверху перекрытых массивными блоками. В начале прошлого века немецкие ученые обнаружили неподалеку от Раббат-Аммана («в Раббе сынов Аммоновых»), нынешней столицы Иордании, дольмен, поразительно напоминавший тот, что описан во Второзаконии. Он действительно похож на гигантскую кровать, и даже размеры приблизительно совпадают с описанием. Одр Ога сложен из базальта, очень

твердого серо-черного камня, что могло породить ассоциации с металлической конструкцией. На территории, которую занимала «страна исполинов» Башан, таких сооружений и сегодня несколько сот. К западу от Иордана дольмены встречаются только в окрестностях Хеврона, именно там, где разведчики Моисея видели «исполинов», т.е. потомков «допотопной» земной цивилизации...

С течением времени территория деятельности носителей культуры мегалитов постепенно сужается и около 2000 года до н.э. «мегалитизм» прекращает свое существование, напоследок соорудив свой самый знаменитый памятник — Стоунхендж в Британии.

А вот еще одна загадочная история...

Установлено, что первые поселенцы сошли на остров Мальта около 5200 года до н.э. Откуда они пришли — неизвестно. Строительство мегалитических храмов началось в середине IV тысячелетия до н.э. Вероятно, это были самые большие сооружения на земле, включая египетские пирамиды и месопотамские зиккураты. В наше время на архипелаге обнаружены остатки 23 таких храмов, причем только четыре не подверглись полному разрушению. Самый древний — на острове Гоцо — построен около 3600 года до н.э. Даже развалины его поражают: разрушившаяся левая сторона фасада достигает шести метров в высоту. Сохранилась и часть стены, окружавшей участок с храмом: некоторые из камней ограды имеют 5,5 метров в длину и весят по 50 тонн. Исследователи полагают, что строения были покрыты массивными каменными плитами. Этому есть подтверждение: сохранились изображения мальтийских мегалитических храмов с каменной крышей. У ученых есть разные версии, по правде говоря, малоубедительные, о том, как древние строители перемещали огромные камни по земле с помощью специальных ям, но как их удавалось втащить на крышу гигантских зданий, совершенно непонятно.

Самые великолепные свои сооружения древние мальтийцы строили под землей, в толще известняковых скал, вырубая длинные спиральные коридоры, запутанные переходы и огромные залы, служившие обиталищем мертвых. Самый большой достигает площади 480 квадратных метра; в нем, по предположению ученых, были погребены 6-7 тысяч человек. Как можно было совершить такое с помощью каменной или костяной кирки, при этом подняв на поверхность многие тонны породы!

Эпоха храмовых строителей закончилась около 2300 года до н.э., причем исчезла эта мегалитическая культура внезапно и бесследно. Человеческие останки, найденные на островах, не показали никаких признаков эпидемии. Нет также доказательств и того, что мирные мальтийские строители стали жертвой свирепых варваров, — завоеватели появились только в XIII веке до н.э., когда там больше тысячи лет никого не было. Нет никаких свидетельств, что цивилизация погибла в результате природной катастрофы.

Возможно, мальтийские строители за несколько тысячелетий своего пребывания на островах полностью истощили их ресурсы и вынуждены были просто покинуть насиженное место. Но тогда не понятно, куда они делись. Ни на близлежащей Сардинии, ни в Северной Африке, ни вообще где-либо на побережье Средиземного моря нет никаких следов их пребывания, как будто они провалились сквозь землю.

3

Неподалеку от Мальты на острове Крит первой половине III тысячелетия до н.э. начинается развиваться минойская культура. Впрочем, неолитические обитатели жили там и до 3000 г. до н.э. Но около 1950 года до н.э. там происходит культурный взрыв, который некоторые ученые связывают с переселенцами из Ближнего Востока. Шедевры минойской архитектуры — результат дворцового строительства в городах Кносс, Фест, Маллия и некоторых других. Эти дворцовые комплексы представляли собой колоссальные лабиринтообразные системы помещений, вошедшие в легенды. Величественный Кносский дворец был разрушен землетрясением около 1700 года до н.э., потом восстановлен, Фестский дворец был разрушен так сильно, что к его восстановлению даже не приступали.

По всей видимости, конец XVIII века до н.э. явился временем масштабных катастрофических событий. Возможно, именно этому периоду принадлежит знаменитый «папирус Ипувера», или Лейденский папирус, рассказывающий о бедствиях во время гибели Древнего египетского царства.

Около 1700 года до н.э., вероятно, произошла катастрофа, в результате которой были уничтожены библейские Содом, Гоморра и еще несколько городов возле Мертвого моря. Эти события красочно описаны в книге Бытия: «И Господь пролил дождем на Содом и на Амору серу и огонь от Господа, с неба. И перевернул города эти и всю окрестность, и всех жителей городов сих и растительность

земли». (Быт.19;24-25) Катастрофа была такой сокрушительной силы, что библейский патриарх Авраам мог наблюдать за ней на расстоянии нескольких десятком километров. «И посмотрел на Содом и Амору, и на всю окрестную землю, и увидел: вот поднялся дым с земли, как дым из печи» (Быт.19;28) Как видим, в тексте Бытия прямо указан источник катастрофы — огонь с неба, что, возможно, означает падение метеорита или кометы.

Несколько лет назад появились сообщения о результатах исследований экспедиции американских ученых во главе с деканом Колледжа археологии и истории при Университете штата Нью-Мехико Стивеном Коллинзом в иорданском селении Тель эль-Хаммам. Археологи пришли к выводу, что именно в тех местах находился библейский «город греха». По мнению ученого, обнаруженные археологами пять комплексов руин точно соответствуют по месту и времени Содому и близлежащим городам, погибших в результате катастрофы. Выводы экспедиции С.Коллинза были повергнуты серьезной критике ученых. Однако точку в этом споре ставить еще рано.

В середине II тысячелетия до н.э. на Крите появляются народы, уже прежде захватившие континентальную Грецию несколько столетий назад. Это те самые ахейцы Гомера, которых теперь принято называть микенцами, а вновь возникшую культуру — минойско-микенской.

Около 1400 года до н.э. в Восточном Средиземноморье происходит ужасная катастрофа, повлекшая за собой тотальное разрушение дворцовых городов на Крите и близлежащих островах. Сегодня многие ученые связывают конец минойско-микенской культуры с извержением вулкана на маленьком острова Тира (Фера, или Санторин), а потом землетрясении, в результате чего морская вода просочилась внутрь вулканического конуса, спровоцировав взрыв чудовищной силы. Следы вулканического пепла сегодня находят за сотни километров от эпицентра в юго-восточном направлении.

Возможно, катастрофа на Тире стала прологом ужасных событий, потрясших Восточное Средиземноморье и Ближний Восток в XIII-XII веках до н.э., где одна за другой гибнут великие культуры Бронзового века на Крите и в Месопотамии, империя хеттов в Малой Азии, городская цивилизация в Ханаане, едва уцелел могущественный Египет.

Надо полагать, что начало «эпохи катастроф» пришлось на конец XIII- начало XII века до н.э., т.е. время, когда, по мнению некоторых ученых, мог состояться Исход евреев из Египта, и не исключено, что описанные в Библии катастрофические события вполне адекватно отражают реальность.

В самом деле, Книга Исхода буквально переполнено информацией о глобальных и «местных» катастрофах...

«...И произвел Господь грохоты грома и град, и огонь разливался по земле...» (Исх.9;23)

Если были гром и град, то можно предположить, что шел дождь, ибо была гроза, но это не помешало возникнуть огненной стихии! Скорее всего, речь идет о сильнейшем пожаре, возникшем во время грозы. Чтобы ни у кого не возникло сомнения в катастрофическом развитии ситуации, в тексте сказано: «И был град и огонь, пламенеющий среди града, весьма сильный...» (Исх.9;24)

Вскоре, однако, стало еще хуже: «была густая тьма по всей земле Египетской три дня» (Исх.10;22), причем тьма какая-то особенно пугающая — «осязаемая».

Не прошло и двух месяцев, как катастрофические события в регионе продолжились: «И вот на третий день при наступлении утра были громы и молнии и облако густое на горе... (Исх.19;16) «А гора Синай дымилась вся..., и восходил дым от нее, как дым из печи, и трясась вся гора чрезвычайно». (Исх.19;18) Можно ли более правдоподобно и наглядно описать извержение вулкана и вызванное им землетрясение?

Неблагоприятные перемены в Восточном Средиземноморье и на Ближнем Востоке обычно «списывались» учеными на разрушительную экспансию «народов моря», пришедших в движение в XIII веке до н.э., может быть, в результате тотального опустошения, произведенного Тирской трагедией. Но «катастрофисты» уверяют, что никакая самая жестокая агрессия не может принести с собой разрушений, пробных тем, что произошли тогда... Естественно, «народы моря» внесли свою лепту в мрачный сценарий, но происходившие глобальные перемены можно объяснить только серией природных катастроф огромной силы, о чем свидетельствует библейский текст.

Таким образом, сведения, изложенные в первых книгах Библии, вполне согласуются с некоторыми фактами, которые приводят ученые, стремящиеся доказать безусловное влияние

«катастрофического сценария» на историю человечества, на возможность существование древней цивилизации, совершенно исчезнувшей, но оставившей свои многочисленные следы на Земле. Возможно, пришло время дополнить господствующую теорию эволюции новыми идеями, которые до сегодняшнего дня отвергались с порога большинством в науке. Разумеется, мы не собираемся вмешиваться в спор ученых — с нашей стороны это было бы легкомысленно и бестактно. Мы просто хотим привлечь внимание публики к авторитетному свидетельству Библии, к поразительным параллелям библейского текста и гипотезам исследователей — сторонников теории катастрофического развития природы на Земле, — «равновесию с пробелами».

Из книги «Голос пустыни. Исход из Египта: современный взгляд» (СПб.: Алетейя, 2014)

Портреты в золоченых рамках

Ну что с того, что я там был...

Юрий Левитанский

В биографиях поэтов Семена Гудзенко и Юрия Левитанского есть удивительные совпадения. И тот, и другой родились в 1922 году, только Гудзенко на полтора месяца позже — в марте. Оба приехали поступать в ИФЛИ в 1939 году с Украины, в июне 1941-го вместе ушли добровольцами на фронт, были зачислены одну военную часть и даже стали первым и вторым номерами одного пулеметного расчета. После войны оба подверглись обвинениям в космополитизме, и оба, к счастью, отделались нервотрепкой и временным отлучением от публикаций. Но при этом они были совершенно разными, совсем не похожими друг на друга. И это различие было видно невооруженным глазом еще с ифлийских времен.

«Гудзенко держался со спокойно уверенностью, — вспоминает его друг В. Кардин. — Курил трубку... снискал признание институтской элиты. Его отличал природный ум, быстрота и точность реакции на творившееся окрест, будь то судьбоносные события или казусы повседневности».

О Левитанском той поры В. Кардин скажет скользь: «Он в своем кургузом пиджачке выглядел несолидно и провинциально».

На том же курсе ИФЛИ, рядом с Гудзенко и Левитанским, учился студент Эмиль Аркинд, в будущем известный писатель и литературный критик, подписывавший свои произведения «В. Кардин» (в историю советской литературы он вошел как Эмиль Владимирович Кардин). Он писал: «Когда в комнате студенческого общежития, где обитали Левитанский, Гудзенко и их наставник, знаток поэзии Толя Юдин, а я был гостем, и мы раскладывали на газете ломти колбасы и разливали по стаканам водку, из черного репродуктора донесся голос Молотова. Предсовнаркома объявил о войне с Финляндией... Гудзенко, подумав, заметил: “Это еще не наша война”».

Но наступило 22 июня 1941 года; все трое — Гудзенко, Левитанский и Кардин — пошли добровольцами на фронт и были

зачислены в легендарный ОМСБОН — «спецназ Великой Отечественной», как впоследствии его назвали мемуаристы и историки.

1. Война детей

Едва сдав экзамены за второй курс, в самые первые дни войны Левитанский пришел в военкомат и написал заявление с просьбой зачислить его добровольцем на военную службу. Сохранилась повестка Сокольнического райвоенкомата, в которой сказано, что «уважаемый товарищ Левитанский» зачислен в «ряды героической Красной Армии». Посему ему «надлежит явиться 15 июля 1941 года на сборный пункт к 8 часам утра по адресу: Стромынка, 13, шк. 378». И далее: «При явке необходимо иметь при себе паспорт, партийный или комсомольский билет, вещевой мешок, смену чистого белья, кружку, ложку, полотенце, мыло и продукты питания на время следования до места назначения».

Левитанский был направлен в Особую группу войск при наркомате внутренних дел. Вскоре подразделение было переименовано в ОМСБОН — Отдельную мотострелковую бригаду особого назначения. Это название осталось в истории Великой Отечественной войны. Формирование началось в июле 1941 года.

«ОМСБОН был призван вести разведывательные и диверсионные действия на важнейших коммуникациях противника, ликвидировать вражескую агентуру, действуя отдельными подразделениями, мелкими группами и индивидуально. В соответствии с этими целями необходимо было создать такое формирование, подобного которому Красная Армия фактически еще не знала. Его подразделениям предстояло действовать не на одном каком-то участке фронта, как это было с другими воюющими частями, а в самых разных местах всех фронтов – от Баренцева до Черного моря, а главное – не только на линии самого фронта, но и далеко за его пределами». (Зевелев А.И., Курлат Ф.Л. «Герои особого назначения. Спецназ Великой Отечественной»)

Кроме профессиональных военных в бригаду призывали спортсменов. Было решено также привлечь московских студентов: сто пятьдесят добровольцев прислал Институт физкультуры, немало молодежи пришли из МГУ, строительного, горного, кожевенного, станко-инструментального, медицинского, историко-архивного и из

других столичных вузов; около тридцати человек зачислены из ИФЛИ.

Учебный полигон Особой группы войск размещался на территории двух стрельбищ — спортивного общества «Динамо» и Осоавиахима — неподалеку от станции Зеленоградская в районе Мытищ.

«Вокруг открытого тира, пересеченного брустверами и рвами, стоит вековой хвойный лес, и лучшего места для тренировок не найти. Тишина. Только издали время от времени доносится шум электропоездов, да хлопают одиночные выстрелы с огневого рубежа. С приходом добровольцев стрельбища зажили новой жизнью. От деревянных барачков и домиков вдоль беговой дорожки стадиона выстроились ровные ряды квадратов белых армейских палаток. Учебные занятия не прекращались ни на минуту. Бесконечные выстрелы, пулеметные очереди, разрывы гранат, мин и команды военруков гулко отзвывались в густом лесу». (Орлов М.Ф. «ОМСБОН в обороне Москвы»)

На учениях солдаты лежали в специально оборудованных узких щелях, и через их головы, лязгая гусеницами, переползал танк. В него бросали деревянные болванки — «гранаты», бутылки с зажигательной смесью.

Военврач Илья Давыдов вспоминал об атмосфере в роте лейтенанта Мальцева, в которой служили Левитанский и Гудзенко.

«Ближайшая от казармы “щель” — самая шумная, — писал он. — Различаю знакомые голоса. Вот взволнованно говорит Семен Гудзенко. Мысленно вижу его сдвинутые к переносью густые брови... В роте Мальцева много студентов Института истории, философии и литературы имени Чернышевского. Они любят порассуждать. Не случайно в батальоне их добродушно-иронически называют философами». (Давыдов И.Ю.. «Юность уходит в бой»)

Конечно, не все и не всегда шло гладко.

«Принятые в бригаду гражданские парни не сразу привыкли к первой утренней команде “Подъем!”. Но уже после недели работы с ними кадровые командиры-чекисты убедились, что эти ребята, не умевшие плотно обернуть портянкой ногу, с поразительной легкостью осваивают все сложности военного дела, с азартом соревнуясь, изучают винтовку, автомат, пулеметы, гранаты, топографию, в полном боевом снаряжении совершают дальние

походы, ночные марши. Особенно сосредоточенными и внимательными молодые добровольцы были на занятиях по подрывному делу... Будущие подрывники учились производить расчеты, вязать и закладывать заряды, ставить мины, фугасы и производить разминирование». (Орлов М.Ф. «ОМСБОН в обороне Москвы»)

В Подмоскovie занятия продолжались до середины сентября...

В ночь с 15 на 16 сентября подразделения ОМСБОН были подняты по тревоге и отправлены в Москву.

«Настроение у всех сразу переменялось, — рассказывает Илья Давыдов. — Красноармейцы, не сговариваясь, закричали “ура”. Остановились в Пушкино и увидели там еще такой же состав. В него грузились другие батальоны полка. На душе стало радостнее. Мы поняли: отправляемся на фронт защищать столицу».

И далее... «Перед бойцами была поставлена задача — обеспечить оборону центра столицы, не допустить прорыва врага через Садовое кольцо. Предстояла так же “активная оборона” района Белорусского вокзала, Ленинградского и Волоколамского шоссе, т.е. направления, откуда ожидался прорыв немцев. Осью сектора обороны Москвы, закрепленного за ОМСБОНом, была улица Горького от Белорусского вокзала до Кремля».

1-й полк разместился в Доме Союзов (там же был и штаб бригады) и здании ГУМа, 2-й — в зданиях в районе Пушкинской площади. Улица Горького выглядела непривычно. Москвичи, видевшие центральную улицу столицы в те дни, запомнили ее такой навсегда.

«Первые этажи домов и витрины магазинов были укреплены мешками с песком, кирпичом, сваями. Строились баррикады, первая из них (считая от Красной площади) перегородила район Пушкинской площади от тогдашнего кинотеатра «Центральный» (ныне на этом месте протянулось новое здание «Известий») до недостроенного дома, в котором затем разместился магазин «Наташа». Баррикада представляла собой нехитрое с точки зрения инженерной мысли сооружение: мешки песка, кирпичи, обхваченные стальными обручами, веревками и другим связывающим и цементирующим материалом; справа и слева имелись пока еще открытые ворота для прохода троллейбусов и другого транспорта, особенно военных машин, мчавшихся к фронту. Следующая баррикада — в районе нынешней

площади Маяковского и такая же — у Белорусского вокзала... Погашены огни... Оконные стекла в домах и учреждениях оклеены бумажными полосами. Воздушная тревога объявлялась до пяти-семи раз в сутки». (Зевелев А.И., Курлат Ф.Л. «Герои особого назначения...»)

«В октябре 41-го года нашу часть привезли в Москву, когда немцы были рядом, и предполагалось, что они могут войти в город, — вспоминал Левитанский. — И в нашу задачу входило держать оборону Москвы... уже в Москве — участок от Белорусского вокзала до Пушкинской площади... Мы патрулировали улицы — ходили вместе с моим другом Гудзенко... Мы, юные патриоты, готовились грудью защищать Москву: у нас была задача не пропустить немцев через Садовое кольцо».

2-й полк ОМСБОН, где проходили службу бывшие студенты ИФЛИ Гудзенко, Левитанский и Кардин, разместили в школе на Бронной, в опустевшем Камерном театре (сейчас Театр им. Пушкина) и в нынешнем здании Литературного института на Тверском бульваре.

«В лютую зиму... нас поместили в это казенное помещение с ледяными батареями, с обедом из жидкой баланды, — писал В. Кардин. — Ночью, когда разносился сигнал воздушной тревоги, мы старались затаиться в классах, они же спальни. На моей стоявшей в углу кровати укрывались тремя шинелями... Голодные мерзнут особенно сильно».

Столовая, где обедали омсбоновцы, находилась на улице Горького около Центрального телеграфа. Когда в один из домов неподалеку попала бомба, молодые бойцы впервые увидели *настоящих* раненных и убитых. Война подступала все ближе.

«На улице Горького творилось невероятное, — вспоминал Илья Давыдов. — На проезжей части стояло несколько легковых автомобилей с опущенными скатами и побитыми стеклами. Возле диетического магазина, где недавно была длинная очередь, ползали и кричали десятки людей. На мостовой виднелись красные пятна. К месту взрыва бежали люди и останавливались там, не зная, что предпринять. Взрыв тяжелой бомбы вызвал много жертв. В течение часа мы обходили квартиры и делали перевязки раненым. Позже узнали, что такие же фугаски немецкий самолет сбросил на Большой театр, на трамвайную остановку у Ильинских ворот и на

угловое здание Центрального Комитета партии. И оттуда автомашины увезли десятки пострадавших».

В эти дни Семен Гудзенко и Юрий Левитанский написали слова песни, фактически ставшей гимном ОМСБОНа. Об этой песне, об ее важной роли на улицах «осажденной Москвы», потом напишут многие мемуаристы. Есть упоминания и о других стихотворных текстах, сочиненных Гудзенко и Левитанским, на мотивы популярных тогда песен.

«Я проснулся от света, ударившего в глаза, — вспоминал В.Кардин. —

Надо мной с карманным фонариком в руке склонился политрук.

— Товарищ боец, товарищ боец, вставайте, надо немедленно написать песню.

— Какую песню? — оторопело переспрашивал я.

— Патриотическую. Про Москву. Приказ командования.

— Я не умею сочинять песни.

—То есть как не умеете? — теперь уже политрук был ошарашен.

Он, видно, успел доложить, что у него имеются специалисты по части песен, а тут "не умею". — Раз приказано, должны уметь.

— Вы не того разбудили, — оправдывался я, — вон спят красноармейцы Левитанский и Гудзенко. Это по их линии...»

Семен Гудзенко записал в своем дневнике:

«Темна Тверская. Мы идем обедать с винтовками и пулеметами. Осень 1941г. На Садовом баррикады. Мы поем песню о Москве. Авторы — я и Юрка (Левитанский — Л.Г.)»

Уточним: авторы слов. Песню пели на мотив суперпопулярной в ИФЛИ, а потом и во всей стране «Бригантины» Павла Когана и Георгия Лепского.

Звери рвутся к городу родному,
Самолеты кружатся в ночь,
Но врага за каждым домом
Встретят пулей патриоты-москвичи.

Припев:

Слышен гул орудий отдаленный,
Самолеты кружатся в ночь.
Шаг чеканят батальоны.
В бой за красную столицу, москвичи!
Мы за все сполна ответим гадам,

Отомстим за наши города.
Нет патронов — бей прикладом,
Чтоб от гада не осталось и следа!

[Припев]

Наша слава вспоена веками,
В песнях слава воина жива.
На последний бой с врагами
Поднимается рабочая Москва.

Эту песню пели почти всегда, когда солдаты шли строем.

«Появление на улицах Москвы подтянутых солдат в строю с полной боевой выкладкой и их песня, утверждавшая: “Мы не отдадим Москвы”, имели огромное мобилизующее и психологическое воздействие на жителей осажденной столицы. И авторы книги — свидетели того, как хмурые лица москвичей светлели, выражая надежду. Люди видели, что Москва имеет надежных и крепких защитников». (Зевелев А.И., Курлат Ф.Л. «Герои особого назначения...»)

Ситуация на фронте менялась. Командование приняло решение передислоцировать ОМСБОН в Подмоскowie, чтобы встретить врага лицом к лицу.

16 ноября 1941 года подразделения ОМСБОНа были подняты по тревоге и отправлены в район Клина.

За центром Москвы начинался настоящий фронт. Бойцы с любопытством и удивлением озирались по сторонам. Миновал Белорусский вокзал, сразу за границей сектора батальона колонна автомашин въехала в маскировочный туннель, образованный сеткой, натянутая вдоль шоссе на уровне фонарных столбов. Поверх сетки были набросаны ветки и желтые листья. Шоссе возле стадиона «Динамо» и Боткинского проезда пересекала железобетонная баррикада с пулеметными амбразурами. В ней были оставлены два проема для пропуска автомашин. В районе Сокола маскировочный туннель заканчивался. Вдоль дороги торчали бетонные укрепления, противотанковые ежи и надолбы. На развилке дорог к Волоколамску и Ленинграду женщины и подростки копали противотанковый ров, укладывали в штабеля мешки с песком.

«О противнике мы знали немного, — вспоминал Илья Давыдов, — только то, что он под Волоколамском, за Московским морем и

где-то в Калининской области, далеко за Клином. Но уже за Солнечногорском темп движения резко снизился. Следом, пытаясь нас обогнать, шли танки и кавалерия. Оседланные лошади стояли в кузовах автомашин седло к седлу. Укрываясь от снега и ветра, к ним прижимались смуглые низкорослые кавалеристы. Суতোлка на шоссе продолжалась до самого Клина. В городе обстановка оказалась не лучше. На узких улицах полно артиллерии, автомашин и пехоты. Группы красноармейцев отыскивали свои части. На окраинах трудились тысячи людей — копали противотанковые рвы».

Колонна продолжала движение. Недалеко от Ямуги она свернула с дороги и двинулась по заснеженному проселку. Остановились в деревне Борщево... Поступил приказ укрепить оборону на рубежах Решетниково — Завидово — Конаково — Шестаково: установить минные поля и лесные завалы. На следующий день батальон продолжал путь по замерзшим проселкам вдоль границы Московской и Калининской областей. В небе то и дело появлялись группы вражеских самолетов. За Московским морем и где-то южнее гудела артиллерийская канонада. На дорогах часто встречались кавалеристы, автомашины, беженцы.

Отряды ОМСБОНа сосредоточились в районе Ямуги, в пяти километрах севернее Клина.

«...У деревни Ямуга тяжёлыми ломами долбим промёрзший грунт, закладываем взрывчатку [...], — рассказывал Юрий Левитанский. — Ночью минируем железнодорожное полотно. Зима 41-го года была ранней и лютой. Красное зарево, свирепый мороз, немцы — совсем рядом. Ставишь мину, потом осторожно вставляешь в неё взрыватель, голыми руками, на сорокаградусном морозе — рукавицы для этого не годятся, — а потом ещё надо её, эту проклятую коробочку, снегом присыпать, чтобы не была заметна, — и так шаг за шагом, мину за миной, долгую эту ночь».

22 ноября немецкие войска остановили атаку кавалеристских соединений и предприняли новую попытку атаковать позиции Красной армии.

«Вдруг воздух наполнился гулом, — пишет И. Давыдов. — Из-за леса вынырнули “мессершмитты”, снизились до бреющего полета и с воем пошли над конниками. Рассеяв пулеметным огнем эскадрон, самолеты с черными крестами вернулись к шоссе, обдавая нас

длинными очередями. Батальон залег. Раздался голос комбата: «Огонь!»»

Бойцы ответили пулеметным огнем, «мессер» отпрянул в сторону и вновь атаковал кавалеристов, а потом снова вошел в пике над дорогой, где были сосредоточены омсбоновцы.

«Немцы бомбят и обстреливают из пулемётов, — вспоминал Ю.Левитанский. — Носятся прямо над нашими головами. Падаем в снег, пытаемся стрелять по ним — как нас учили, с “упреждением на два корпуса”, — а потом серыми комочками, в серых своих шинелях лежим на сверкающем этом снегу, беспомощно прикрыв голову руками. Первые убитые, первые раненые, оторванные руки, ноги...»

«Бойцы начали укладывать раненых в кузов первой машины, — продолжает И.Давыдов. — Паперник и Гудзенко привели под руки смуглого скуластого конника. Он громко стонал и просил подать ему клинок, отброшенный за дорогу. Клинок подали. Подогнали вторую машину. Быстро погрузили в нее новую партию раненых. *Но едва Левитанский с Лебедевым закрепили борта кузова*, как Чихладзе притащил еще одного кавалериста (выделено мной — Л.Г.). На могучих плечах борца раненый казался мальчиком. Положили и его. И вторая машина уехала».

Это был первый настоящий бой, в котором приняли участие Левитанский и Гудзенко.

В эти холодные зимние дни конца ноября отряды заграждения ОМСБОНа вместе с частями Московской зоны обороны сорвали план гитлеровцев прорваться к Москве на самом коротком, прямом и выгодном для них направлении. Немецкие войска искали обходные пути и двинулись в том числе на Рогачёво – Дмитров. Сюда перебросили омсбоновцев, которые снова встали живым щитом на пути у фашистов.

Новая атака была отбита. Красная Армия перешли в наступление.

«В ноябре нас поставили на лыжи, — вспоминал Ю.Левитанский. — Длинные переходы, броски по 30, 40, 50 километров, в полной выкладке — винтовка, 120 патронов, три гранаты, малая сапёрная лопатка, вещмешок, противогаз — всего 32 килограмма. Немцы напирают яростно, рвутся к Москве. В районе деревни Давыдково – приказ: заминировать шоссе на участке 15 километров. Под обстрелом, на жесточайшем морозе. Утром команда — взрывать. В это время вдоль всего шоссе — немецкие танки и лыжники,

прикрываемые с воздуха “фоккевульфами”. Два часа под непрерывным обстрелом. Но огромные комья земли с грохотом взлетают вверх — шоссе взорвано. В итоге — это я знаю лишь теперь — обеспечен стык армий Рокоссовского и Лелюшенко. Об этом писал потом Рокоссовский».

«Особенно напряженным был конец ноября и первые дни декабря 1941 года, — пишет И.Давыдов. — Наши бойцы установили минные поля, заложив на этих полях более шестнадцати тысяч мин, до пятисот заградительных фугасов и зарядов замедленного действия. Кроме того, они устроили и минировали около ста пятидесяти лесных завалов, взорвали несколько мостов и наш склад боеприпасов, оставшийся в тылу противника.

Наступление наших войск продолжалось. На центральном участке Западного фронта мы овладели несколькими городами, в том числе Козельском и Калугой... »

В ходе контрнаступления войска Красной Армии 16 декабря освободили Калинин. (Калининский фронт был образован еще 19 октября). Наступление в конце декабря было весьма успешным, но в начале января 1942 года оно захлебнулось.

Много лет спустя об этих суровых зимних днях Левитанский скажет: «...Мне нравится выражение Воннегута: “война детей” — да, воюют всегда дети, такими были и мы, лежавшие на том подмосковном снегу декабря сорок первого года. А зима была очень холодная, и лежали мы на этом снегу в своих шинелях и сапожках очень удобными мишенями для немецких самолетов — даже и маскхалатов тогда у нас еще не было. Чувство страха и чувство голода подолгу не отпускали нас в те студеные дни и ночи, а спать приходилось частенько на снегу...» И добавлял: «Сейчас при одной только мысли, чтобы лечь на снег, становится страшно, а тогда мы с Семеном Гудзенко лежали в снегах рядом, два номера пулеметного расчета».

Гудзенко писал:

«Я все это в памяти сберегу:
и первую смерть на войне,
и первую ночь,

 когда на снегу

мы спали спина к спине».

(«Прожили двадцать лет...», 1942)

2. Пули свистят рядом

В середине января командование бригады сформировало четыре отряда по 80-90 человек в каждом для выполнения разведывательных и диверсионных заданий в ближайшем тылу врага в районе Вязьмы и Дорогобужа. Командиром одного из отрядов был назначен кадровый пограничник, старший лейтенант Кирилл Лазнюк. В его отряд был зачислен и бывший студент ИФЛИ Семен Гудзенко.

Маршрут отряда проходил по городам и деревням, где еще недавно шли бои. Дальше ехать на машинах было невозможно. Гудзенко коротко запишет в дневнике: «Остановили машины. Немцы летают. Нагло низко и обстреливают. Ночью пошли на лыжах... Бродили по снегу, по оврагам. Ночью пришли в Мехово. Здесь штаб армии. Собираются уезжать. Лежали на снегу. Потом ночью в дымной хате ели вкусно».

В эти дни положение на фронте изменилось. Остановленные с огромным трудом немецкие войска вновь перешли в наступление. Обороняющиеся советские дивизии оказались растянутыми по заснеженному бездорожью. В этой ситуации командование меняет первоначальное задание, приказывает приостановить движение в тыл врага и бросает плохо вооруженных омсбоновцев в короткие кинжальные атаки с целью задержать немцев и дать возможность подойти главным силам. Когда 328-я стрелковая дивизия была ослаблена наступательными боями, на помощь ей были направлены омсбоновские отряды, приобретшие опыт в боях на ближних подступах к Москве.

«Три дня – и нет отряда», – запишет в своем дневнике Семен Гудзенко.

«Прибыли ночью. Почти бегом 15 километров. Спим тревожно, не раздеваясь. Рассвет. Выступаем. Ходим весь день на лыжах. Были в деревне Котырь, рядом с Хлуднево. Устали, как черти. Вечером вернулись. 1-й и 2-й взводы ушли в бой. Мы остались... Бой был под Кишеевкой... Ворвались в деревню. Потом отошли... Немецкий шаблон обороны населенного пункта с каменными домами. Подпускают вязнущих по пояс в снегу на 50–60 метров. Зажигают крайние дома. Видно как днем. И бьют из пулеметов, минометов и автоматов».

Следующая запись о бое в Хлуднево...

«Пошли опять 1-й и 2-й [взводы]. Бой был сильный. Ворвались в село. Сапер Кругляков противотанковой гранатой уложил 12 немцев в одном доме. Крепко дрался сам Лазнюк в деревне. Говорят, что он крикнул: «Я умер честным человеком». Какой парень! Воля, воля! Егорцев ему кричал: “Не смей!” Утром вернулись 6 человек, это из 33».

И далее...

«Ездили под Хлуднево. Хотели подобрать своих. Предрассудки мирного времени. Все для живых. О мертвых нет возможности думать».

«Ночью пошли в Хлуднево... Догорает дом. Жителей нет. Немцы, постреляв, ушли на Поляну...»

«2-го [февраля] утром в Поляне. Иду в школу [...] Пули свистят, мины рвутся. Гады простреливают пять километров пути к школе. Пробежали... Пули рвутся в школе.

Бьет наш «максим». Стреляю по большаку... Пули свистят рядом.

Ранен в живот. На минуту теряю сознание. Упал. Больше всего боялся раны в живот. Пусть бы в руку, ногу, плечо. Ходить не могу. Бабарыка перевязал. Рана — аж видно нутро. Везут на санях. Потом доехали до Козельска. Там валялся в соломе и вшах...

Полечусь и снова в бой, мстить за погибших...»

Но это еще впереди. А пока...

«Гудзенко эвакуировали с проникающим ранением в живот, — расскажет потом В. Кардин. — Об их (омсбоновцах Лазнюка — Л.Г.) гибели написали в «Правде», прославляя героизм и утаивая причины неоправданной смерти. Мы с Юрой читали статью, горевали о ребятах, тревожились о Сарике (Сарио — имя Гудзенко, данное ему родителями — Л.Г.), не понимая: выпячивая одно, утаивая другое, пропаганда творила войну, которая постепенно будет вытеснять из памяти подлинное, заменяя его выдуманным. Более утешительным, живописным, более пригодным для воспоминаний».

15 октября 2015 года на сайте «Российской газеты» в материале Дмитрия Шеварова «Я хорошо его запомнил...» было опубликовано письмо 84-летнего жителя г. Обнинска Калужской области Валентина Васильевича Миронова, в доме которого в феврале 1942 года одну ночь провел раненный боец Гудзенко.

«Помню, я пришел домой поздно вечером. Смотрю: около хаты стоят сани с соломой... Захожу в избу: на столе горит керосиновая лампа, а за столом на лавке сидит в солдатской шинели большой раненый военный и стонет. Рядом с ним сидит красноармеец, который вез его. Красноармеец сказал, что везет раненого в Козельск, в госпиталь...

Раненый со мной и ни с кем из нашей семьи не разговаривал. Ничего не ел и не пил. Так он просидел до утра с красноармейцем. Хата была маленькая, а семья у нас большая: пять сестер, отец, мать и я. Лежать у нас места не было.

Утром красноармеец отвел раненого на улицу и положил в сани, накрыл соломой, и они поехали в Козельск. Я всем ребятам хвалился, что у нас ночевал раненый командир Красной Армии. Я хорошо его запомнил. И лицо, и то, что он большого роста — это точно. Потом в козельских газетах писали, что в госпитале, который размещался в парке села Березичи, лечился раненый Семен Гудзенко. По фото в газете я и понял, что он тот самый раненый, которого я видел в нашей хате».

К письму была приложена карта, где В.В. Миронов отметил маршрут, по которому везли раненого. В письме также сообщалось (и эта информация имеет документальное подтверждение), что Гудзенко лечился в медсанбате в селе Березичи, в семи километрах от Козельска. Потом его перевезли в госпиталь на станции Шилово в Рязанской области.

Журналист приводит так же слова бригадного врача, лечившего красноармейца Гудзенко: «Он говорил: “Одно прошу, не старайтесь меня ободрить, от этого только хуже. Знаю, что ранения в живот обычно смертельны. У меня хватит силы умереть с сознанием выполненного долга перед партией и товарищами”. Это были слова настоящего зрелого бойца».

На этот раз предчувствие обмануло поэта. Рана зажила. И именно теперь в холодные дни зимы и ранней весны 1942-го в госпиталях им были написаны стихи, создавшие молодому бойцу славу выдающегося российского поэта: «Перед атакой», «Первая смерть», «Подрывник».

Месяца через два его выписали из госпиталя. В. Кардин вспоминает встречу после ранения Гудзенко: «В апреле мы столкнулись нос к носу в коридоре. Замерли, обнявшись. Он был

тош, бледен, в застиранной гимнастерке, перетянутой парусиновым ремнем...»

В. Кардин уточняет: «Нас разместили в пустующем новеньком дачном поселке возле Пушкино». И далее он вспоминает эпизод конца лета 1942-го, когда после посещения редакции «Комсомольской правды» вернувшийся из Москвы «Сарик» отвел его в рощу, «повалился на траву» и со слезами на глазах начал рассказывать о трагедии Сталинграда: «Немцы вот-вот прорвутся к Волге. Наш механизированный корпус перемалывают за пятнадцать минут».

После того, как врачи признали Гудзенко негодным к строевой службе, он был приписан к бригадной газете ОМСБОНа «Победа за нами». Красноармейская многотиражка начала выходить еще в дни обороны Москвы, 7 ноября 1941 года. Уже тогда Гудзенко предложили перейти из боевого подразделения в штат редакции, но он категорически отказался, хотя сразу же стал сотрудничать в газете. Первые его военные стихи были опубликованы в декабре 1941-го. И только после ранения, в июне 1942-го, Гудзенко был зачислен в штат редакции. С тех пор он регулярно печатался на ее страницах, несмотря на многочисленные длительные командировки.

Несколько месяцев он работал в Сталинграде после освобождения от немцев, — там фактически с нуля шло восстановление города.

«В одном из подвалов (а в городе были только подвалы, с поверхности все было сметено), — писал Евгений Долматовский, — разместилась выездная редакция «Комсомольской правды». В каждом номере газеты-листовки были стихи, статьи, лозунги Семена. Он и спал тут же, на редакционном столе, подложив под голову комплект газет».

В 1943 году ОМСБОН переформировали, и Гудзенко перевели в газету 2-го Украинского фронта «Суворовский натиск». Он прошел Карпаты и Венгрию. Был награжден орденом Красной Звезды. А сразу после войны и орденом Отечественной войны II степени

Из наградного листа, датированного 12 мая 1945 года:

«Красноармеец — поэт Гудзенко С.П. принимал активное участие в освещении штурма Будапешта, находясь постоянно в штурмующих подразделениях, корреспондируя не только в газету "Суворовский натиск", но и в центральную прессу. Талантливый

поэт, чьи стихи пользуются исключительным успехом среди солдат и офицеров фронта, он выполнял любые задания редакции, писал очерки о героях фронта, зарисовки, организовывал военкоровский материал, создавал актив вокруг газеты.

Будучи сам солдатом — первое время участвовал в войне как десантник в тылу врага, дважды ранен, — хорошо знает жизнь солдата. Поэтому его стихи и очерки правдиво отражали жизнь людей переднего края, воспитывали в бойцах и офицерах любовь к Родине, ненависть к врагу, поднимали наступательный порыв.

Красноармеец Гудзенко С.П. достоин награждения орденом Отечественной войны II степени».

3. Солдатская дорога

Как следует из документов, красноармеец Левитанский воевал в частях ОМСБОН на Калининском фронте до февраля 1942 года.

В книге «Солдатская дорога» (Иркутск, ОГИЗ, 1948) цикл «Передний край» открывается стихотворением «Начало», подписанном — *Калининский фронт, 1942.*

Речь в нем о безымянном бойце, оказавшемся в окружении и, пренебрегая опасностью, пробирающемся к своим.

«...И он спешил к своим пробиться,
Взрывая за собой мосты.
Над ним несли чужие птицы —
На крыльях черные кресты.
А звуки взрывов были глухи —
За много верст ушли войска.
И вот уже бродили слухи,
Что немцем занята Москва...»

Вероятно, это самое раннее из известных сегодня фронтовых стихотворений Левитанского. Скорее всего, в окончательной форме оно было написано позже, но при этом живо отражает впечатления тех дней 1942-го.

В.Кардин пишет, что весной 1942 года Левитанского, «*видимо*, откомандировали в редакцию многотиражки дивизии им. Дзержинского». Так оно и было. Согласно документам с февраля 1942-го — он «литературный работник» газеты «В бой за Родину» 2-ой Мотострелковой дивизии. Это подразделение «особого назначения внутренних войск НКВД» в ту пору было придано

ОМСБОН. А с июля 1942-го Левитанский начинает свой боевой путь на Северо-Западном фронте в составе 53 Армии (создана 1 мая 1942 года) в газете «Родина зовет». В составе войск фронта Левитанский принял участие в Демянской операции по окружению значительных сил врага.

В стихотворениях («Несколько верст до войны», «Братья», «Среди лесов и диких бездорожий»), подписанных — *Северо-Западный фронт, 1942* — упоминаются топонимы Старое Гучево, деревня Вайно, озеро Ильмень — все в Новгородской области, которые указывают на события Демянского плацдарма. Пейзаж в них, в основном, зимний.

«Мы пришли сюда совсем случайно:

Нас направил лейтенант,

комвзвода —

На КП

проверить провода...

В январе сорок второго года

Здесь погребена деревня Вайно, —

Так ее запоним навсегда.

Запах дыма,

пепла едкий запах

Прямо в сердце каждому проник...

По снегам приильменским сыпучим

Шли солдаты русские на запад

Через лес,

к Берлину

напрямик».

Весна 1943-го выдалась холодной. «На январь похожая весна», — напишет поэт в одном из своих стихотворения той поры.

В самом начале 1943 года, после победного завершения Сталинградской битвы в Красной армии радикально изменили военную форму и знаки воинского различия. Вместо демократических гимнастеров и привычных «кубарей» воинам были выданы новые комплекты формы. Соответствующий Указ Президиума Верховного Совета СССР был подписан в январе 1943-го, а переход на новые знаки отличия в войсках, согласно приказу, следовало провести за полмесяца — с 1 по 15 февраля. Однако в

некоторых боевых частях этого произошло гораздо позже, только летом.

В стихотворении «Звезды» (*Северо-западный фронт, 1943*) Левитанский упоминает об обмене старой формы на новую и «кубарей» на погоны...

В маленькой землянке тишина.

Раздает погоны старшина.

Каждому сержанту и бойцу

Эта форма новая к лицу.

...Лейтенант снимает «кубари»,

Аккуратно прячет в вещмешок —

Все же с ними,

что ни говори,

Много перехожено дорог!

В редакции газеты «Родина зовет», где в это время проходил службу Левитанский, замена формы происходила 14 февраля. Запись об этом сделал в своем дневнике Даниил Фибих, фронтовой журналист газеты «Родина зовет», впоследствии писатель, автор книги «Двужильная Россия: дневники и воспоминания» (2010).

15 февраля. *Вчера вечером некоторые из товарищей получили, наконец, погоны. Произошло это буднично — просто Карлов (гл. редактор — Л.Г.) вызвал их к себе и вручил. Вообще, переход армии к погонам смазан. На три четверти эта реформа теряет свой смысл и значение. Разумнее было бы приурочить это к 1 Мая, к выдаче нового летнего обмундирования или хотя бы к 25-летней годовщине Красной армии. Ненужная суетливость и спешка. Губарев и Эпштейн целый вечер мучились пришивкой погонов к гимнастеркам. А надев их — сразу превратились в денкинцев.*

В своих записях февраля-марта 1943 года Д. Фибих ярко описывает труд военного журналиста в период наступления Красной Армии на Демянском плацдарме в эти месяцы. Это помогает наглядно представить и фронтовые будни Юрия Левитанского, боевого товарища Даниила Фибиха...

16 февраля. *Вчера началось наступление нашей армии.*

17 февраля. Завтра еду на передовые... Километров полтораста придется сделать. Говорят, туда все время идут машины. Жизнь в лесу, в шалашах. Наше наступление развивается. Продвинувшись на 15 км, заняли всего 9 населенных пунктов. Линия обороны прорвана. Если дальше так пойдет, скоро, чего доброго, покончим с демянским гнойником. А там Старая Русса, Псков, Новгород и выход в Прибалтику.

Питался я эти дни кое-как. Две ночи я провел в шалаше, где жили бойцы комендантского взвода. Спал на снегу, у костра. Ничего, спать можно, только ноги стынут, даже в валенках! Во время сна сжег рукавицу, которой прикрывал от жара лицо.

Нет ничего труднее в работе армейского журналиста, как добывать материал во время наступления. Все движется, все ежечасно меняет свои места. Люди, с которыми нужно побеседовать, находятся под огнем, ведут бой. Если ты даже и доберешься до них, тебя попросту «обложат» и будут правы: не путайся под ногами, когда идет тяжелая, трудная, кровавая работа.

4 марта. Стояла оттепель, пахло весной. Сильный, совсем мартовский ветер. На дорогах выступила вода. Я делал по 10 – 15, если не больше, километров в день, шлепая в валенках по лужам. Навсегда останется у меня это ощущение ходьбы в отяжелевших, насквозь мокрых валенках.

В дневниковой записи от **28 марта**, перечисляя всех членов редакции газеты «Родина зовет» и их шуточные прозвища, Д. Фибих упоминает Левитанского, прозванного товарищами «Малец» как самого младшего среди них. Это прозвище Левитанский упоминал и в своих интервью 90-х годов.

К этому же периоду относятся и другие записи Даниила Фибиха...

«Юный Левитанский, с молодыми усиками над верхней губой, с упавшим на лоб небрежным темно-русый завитком, похожий несколько на Лермонтова, был занят своими стихами и ходил всегда с вдохновенно-сосредоточенным видом...»

«...Прибежал юный наш поэт Левитанский, со слезами на глазах стал рассказывать, что в Ташкенте (на самом деле, во Фрунзе — Л.Г.) пухнут с голода его старики, и клялся, если умрет мать — застрелить Карлова. Поведение редактора действительно возмутительное. Левитанский работает у нас

восьмой месяц, в звании красноармейца, только на днях получил звание лейтенанта, но денег ему до сих пор не выплачивают. Мальчик совершенно лишен возможности помочь своим родителям хотя бы деньгами. Как поэт он подает надежды. Умный, острый, развитой, талантливый, хороший паренек...»

Продолжая свои записи, Д. Фибих рассказывает о литературном концерте с участием Левитанского, устроенном при передислокации армии прямо в поезде.

9 апреля. *Еще Тульская область, но вокруг уже лежат чисто украинские степи.*

Вчера устроили литературное выступление. Бойцов из других вагонов построили, повели. Одна из теплушек была превращена в эстраду, на которой мы выступали. Слушатели собрались перед вагоном – стоя, сидя. Выступали Левитанский со стихами, я, Пантелеев, Эпштейн и Москвитин, читавший главу из своей сатирической повести, Весеньев — с отрывком из своего научно-фантастического романа.

Воспоминания Даниила Фибиха с упоминанием Левитанского охватывают период с конца зимы 1942 — до весны 1943 годов. Последняя запись дневника датирована 31 мая. 1 июня Д. Фибих был арестован и осужден на десять лет лишения свободы. Реабилитирован в 1959 году.

Эти месяцы военного времени нашли также отражение и в книге молодого поэта «Солдатская дорога». В стихотворении «В последний час...» (*Северо-западный фронт*, 1943) Левитанский прямо упоминает Демянскую операцию и свои чувства, связанные с этими нелегкими днями фронтовой жизни.

Следующее стихотворение в сборнике — «Дети России» подписано: *Степной фронт*, 1943. Речь идет о событиях апреля. Поэт фиксирует свои «дорожные» впечатления: «Мы ехали десять суток// В теплушках, прошитых светом...»

Д. Фибих пишет, что передислокация, т.е. дорога на новое место службы длилась 22 дня. У Левитанского действие происходит «на разбитом бомбой вокзале» — стало быть, еще в дороге.

В апреле 1943 года 53-я Армия была придана Степному военному округу, переименованному в Степной фронт в июле. По документам служба Левитанского на *Степном фронте* проходила с апреля по июнь 1943-го.

В составе 53-й Армии Левитанский принимал участие в Курской битве.

К середине июля 1943-го армия заняла рубеж северо-восточнее Белгорода и перешла в наступление в составе Степного фронта. Об этом Левитанский пишет в стихотворении «Украинский шлях», упоминая города Белгород и Харьков. События происходят летом. Стихотворение подписано: *II Украинский*, 1943. Вероятно, написано оно осенью: 2-й Украинский фронт на Юго-Западном направлении был преобразован из Степного в октябре 1943-го.

8 августа 1943 года младший лейтенант Левитанский, литсотрудник армейской газеты «Родина зовет», представлен к медали «За Боевые заслуги». В Наградном листе упомянуты стихотворения, посвященные освобождению Орла «Москва салютует» и Харькова «Мы идем, Украина».

В начале октября 1943 года 53 Армия пробилась к Днепру. Левитанский пишет:

...Нас дикой жаждой мучила жара
И гимнастерки солью покрывала.
Мы шли весь день сегодня,

без привала,

Чтоб вечером напиться из Днепра.

(«Дорога к Днепру», *II Украинский*, 1943),

В октябре 53-я Армия форсировала Днепр и вышла на его правый берег. Этому событию Левитанский посвятил два стихотворения — «Правый берег» (*II Украинский*, 1943) и «Отгремели бои...» (*II Украинский*, 1944). Во втором стихотворении поэт фиксирует: «Снова мирная осень// стоит у Днепра на причале». Речь идет об осени 1943-го, когда вот-вот должны начаться бои на правом берегу.

Весной 1944 года 53-я Армия с боями вышла к Днестру, форсировала его, а летом подошла к границе с Румынией.

Стихотворение «Граница» (*II Украинский*, 1944) — в сущности, горькое воспоминание об июле 1941-го...

Я хочу, чтоб навек сохранила память
Каждый посвист пули,
Каждый крик, зажатый плотно губами
В том страшном июле,
Чтоб друзей имена шелестели, как знамя,
В годах не померкли.

Слышишь, нынче встают они рядом с нами
В строй на поверке...

3 мая 1944 года младший лейтенант Юрий Левитанский, инструктор-организатор газеты «Родина зовет», представлен к Орденом Красной звезды. В Наградном листе отмечено: «прошел с 53 Армией весь путь ее победоносного наступления», «много раз бывал на переднем крае», упомянуты несколько стихотворений и сатирических материалов, опубликованных в военной прессе.

31 августа 1944-го 53 Армия вступила в Бухарест. Об этом — в стихотворении «Флаг»:

Незнакомые кварталы,
Двери лавок и гостиниц.
Мимо них идет усталый,
Запыленный пехотинец.

.....

(Румыния, 1944)

Бухарест был первым иностранным городом, где побывал поэт. Румыны встречали советские войска как освободителей. При въезде в город их приветствовал король Михай, королева-мать Елена, министры нового правительства... После победоносного антигитлеровского восстания Бухарест оживал, жизнь медленно входила в привычную колею. Юрию Левитанскому и его другу капитану Борису Эпштейну предоставили отпуск на две недели, который, судя по воспоминаниям поэта, они «провели довольно весело». Время пролетело незаметно, оставив надолго приятные воспоминания о послевоенной европейской жизни.

Пропыленные клены и вязы.

Виноградные лозы в росе.

Батальоны врываются в Яссы

и выходят опять на шоссе.

Здесь история рядом творится.

И, входя в неизбежную роль,
нас державные чествуют лица

и приветствует юный король.

Сквозь цветы и слова величальные

мы идем, сапогами пыля,

и стоят генералы печальные

за спиной своего короля.

Астры падают справа и слева,

и, холодные хмура черты,
напряженно глядит королева
на багровые эти цветы.
(«Румынские цветы» Из старой тетради, 1944 в сб. Земное небо,
1959)

Между тем, армия шла на запад... В конце сентября 1944 года 53-я Армия, действуя в направлении главного удара фронта, вышла на венгерско-румынскую границу, прорвала оборону противника, дошла до реки Тиса в районе города Польшара и, форсировав реку, продолжала наступление на Будапешт. Город был взят в ноябре.

(Интересный факт. В путевых заметках Юрия Левитанского «Моя вторая Европа» в записи от 25 июня (1994), порт Гамбург, — он отмечает: «В Венгрии, в 1944 году — пластинка — “однозвучно гремит, звенит колокольчик”». Через полвека припомнил... Вот вам — «я все забыл»!)

О пребывании Левитанского в Будапеште наглядно свидетельствует фотография группы офицеров, хранящаяся в РГАЛИ, с пометкой «Венгрия. Март 1945г.» На нем запечатлены Юрий Левитанский и Семен Гудзенко в компании фронтовых журналистов. Эту фотографию Гудзенко послал матери, написав на оборотной стороне: «Ребята из газеты “Родина зовет”».

Об этом памятном эпизоде своей солдатской дороги Левитанский рассказал в одном из интервью 90-х годов: «А это — Будапешт, мы с моим однокурсником и другом, однополчанином Семёном Гудзенко. [...] Где-то год 45-й. Он тогда уже был собкором. Приехал по заданию «Комсомольской правды». А я ещё воевал. Отыскал меня, отпросил у командира. Неделью мы провели в Будапеште».

«Очная» дружба Левитанского и Гудзенко — цепь запоминающихся событий в биографиях обоих поэтов, — яркая, но короткая. Впрочем, на войне, на фронте год идет не за два, как принято думать, а за десять, а то за всю жизнь. Опять пришло время расставаться. Левитанский окончил войну в Праге. Гудзенко, корреспондент газеты «Суворовский натиск», встретил Победу в Будапеште.

В стихотворении «Чужой город» (Венгрия, 1944) Левитанский отметил: «Полки давно ушли за Грон».

53-я Армия форсировала Грон в конце марта 1945-го и в апреле вошла в Чехословакию, к концу месяца освободив Брно.

В книге «Солдатская дорога» помещены два стихотворения, подписанных — Германия, 1945, в которых упоминаются бои на реке Шпрее. Но эта территория, как известно, была «зоной ответственности» I Украинского фронта, а не Второго, к которому был приписан Левитанский. Из этого можно сделать вывод, что, вероятно, Левитанский побывал в Германии в командировке с редакционным заданием, скорее всего в апреле 1945-го.

Последней боевой операцией 53-й Армии в Европе стала Пражское наступление в конце апреля — начале мая 1945-го. Освобождению Праги Левитанский посвятил стихотворение «Мир» (Чехословакия, 1945).

«И мир настал.

Оглохшие от боя,
Мы наслаждались первой тишиной.
Навстречу нам без всякого конвоя
Шли пленные весь день по мостовой.
Так тихо стало,

будто вовсе не был
Ночных сирен протяжный длинный вой,
И только всюду утреннее небо
Сверкало бесконечной синевой...»

Вот это безмолвное многочасовое движение по дороге на восток пленных немцев произвело на молодого поэта такое огромное впечатление, что и полвека спустя он не раз вспоминал о «бесконечных колонах капитулировавших немцев, без охраны шагающих “в плен” согласно указателям по обеим сторонам дороги».

И еще в разговорах о победных днях, перед ним всякий раз вставало ощущение вечности: «майская сирень Братиславы и Праги», а «над бесконечной чредою лиц и пейзажей на тех бесконечных дорогах парила, как венец и вершина, та весна 45-го — солнце, и вся жизнь впереди»!

С детства мы знаем, что в годы войны обычны долгие расставания, как правило, трагические, но случались и встречи, неожиданные и радостные. Кардин и Гудзенко встретились осенью 1945 года, после Победы, «в штабе бригады, напротив Курского

вокзала». В. Кардин вспоминает: «Обнялись, как в тот год, когда он вернулся из госпиталя. Сарик водил меня по кабинетам, с кем-то знакомил, показывал на мои нашивки за ранения, на капитанские звездочки. [...] Отвел в закуток. Прочитал “На снегу белизны госпитальной...” Потом, отвечая мне: Юра на Дальнем Востоке, воевал с японцами. Заделался лейтенантом... Ему на роду написано быть поэтом. Мое дело — тебя предупредить. Я среди нас троих младший — так и хожу в ефрейторах».

После войны Гудзенко много ездит по стране, но его репортажи часто полны обычной риторики, пафосом построения новой жизни. В поездках он выступает перед людьми, читает свои военные стихи, которые производят завораживающе впечатление на слушателей.

Очевидец вспоминает: «Все, кто слышал, как читает Гудзенко, никогда уже не могли забыть своего впечатления. У Семена было огромное обаяние и врожденный артистизм. Высокий, красивый, зеленоглазый, с голосом "зычным, как у запорожского казака" он никого не играл, был только самим собой, но как раз эта невероятная свобода поражала более всего. [...] Слова идут с такой расстановкой, с такими жаркими, глубокими паузами, будто это медленно поднимают на борт сверкающую на солнце тяжелую якорную цепь. Почему Гудзенко читал стихи именно так, как он читал? Наверное, Семен бы и сам этого не объяснил. Но что ясно было ему и что понятно нам: он был голосом убитых».

...Сегодня в это почти невозможно поверить, но в конце 1940-х годов Гудзенко был обвинен в «космополитизме». Его упрекали в переоценке военного прошлого, что приводит, мол, к «дегероизации» послевоенного мирного строительства. Он отвечал «в запале». Но ситуация неожиданно изменилась. Его поэма «Дальний гарнизон» (1950) была выдвинута на Сталинскую премию. Правда, потом его имя было вычеркнуто из списка соискателей. По мнению некоторых критиков, эта поэма до сих пор считается «одним из лучших поэтических произведений о военной службе в мирное время».

В эти годы Гудзенко женился на Ларисе Жадовой, дочери известного советского военачальника. В 1951-м, когда у них родилась дочь Екатерина, поэт был уже болен и с трудом зарабатывал журналистской работой. После смерти Гудзенко, Лариса стала женой Константина Симонова. Она была незаурядной личностью, замечательным искусствоведом и много сделала для

продвижения живописи русского авангарда, что в 60-е годы не было делом само собой разумеющимся.

Гудзенко перенес несколько операций, но спасти его не удалось. Он умер на больничной койке в феврале 1953-го, через три недели ему исполнился бы 31 год.

«Мы не от старости умрем, —
от старых ран умрем.

Так разливай по кружкам ром,
трофейный рыжий ром!» —

пророчески написал Гудзенко в 1946-м.

В конце 1945-го капитан Кардин был направлен в Прикарпатский военный округ на необъявленную войну с украинской повстанческой армией. В Москву был вызван в 1947-м и направлен на учебу в Военно-политическую академию. Окончил с отличием в 1951-м, после чего еще два года служил на Дальнем Востоке, «в гарнизоне в сопках с видом на корейскую границу». Летом 1952-го, приехав в отпуск в Москву, узнал, что Гудзенко лежит в Институте нейрохирургии им. Бурденко и готовится ко второй операции по удалению опухоли мозга. Тяжелое состояние больного помешало встрече.

«Сереньким февральским днем пятьдесят третьего в «гарнизон среди сопок» доставили “Комсомольскую правду” с некрологом...», — напишет В. Кардин. Бывший заместитель командира отряда десантников-подрывников был уволен в запас в 1953-м в звании подполковника.

«Юрий Левитанский помнил Сарика и не меньше меня любил его строки, — много лет спустя вспоминал В. Кардин. — Но искал себя в обновившемся поэтическом пространстве. Гудзенко откликался на боль и тревогу незамедлительно. Левитанский не тщился что-либо помнить, принимая забвение как должное и понимая его мнимость. “Я все забыл”, — произнесет он, чтобы подтвердить это и опровергнуть. [...] Гудзенко стремился конкретизировать, мотивировать каждое движение — физическое и душевное. У Левитанского недосказанность. Не прием, не придуманный ход, но отголосок давнего, еще “той зимы”, смятения, не улегшегося с годами».

Левитанский пережил Гудзенко на 43 года и всю жизнь помнил о нем, особенно часто вспоминал в 90-е, когда страна готовилась отметить 50-летие Победы. Поэт с ужасом думал о живущих в

нищете ветеранах на фоне замышлявшегося грандиозного народного праздника, все чаще, как заклинание, повторял имя своего давно ушедшего друга.

«...Вскоре после войны смерть настигла Семена Гудзенко, общепризнанного лидера, первым сказавшего частичку правды о той войне», — вспоминал он в одном из своих интервью 1995-го.

Помнил он о друге до последней минуты: и в июне 95-го, когда в Кремле на церемонии вручения Госпремии говорил горькие слова президенту Ельцину («мысль о том, что опять людей убивают как бы с моего молчаливого согласия, — эта мысль для меня воистину невыносима»), и в последние часы жизни, 25 января 1996-го, в Московской мэрии, громко протестуя против чеченской войны.

Но его не услышали...

4. «Война, беда, мечта и юность!»

Так же часто и горько, как Гудзенко, Левитанский вспоминал только своего друга поэта Давида Самойлова после его кончины в 1990-м. «Большая часть моей жизни, — говорил он, — была связана с его жизнью и со всем тем, что он делал». Впрочем, эти замечательные поэты были совсем не похожи — ни в жизни, ни в творчестве. В одной из своих книг Самойлов назвал Левитанского «поэтом личного отчаяния». Впрочем, как и во всякой шутке, здесь, увы, есть доля шутки...

Поэт Михаил Поздняяев вспоминал: «Мы с друзьями тех лет, когда часто ходили в гости к Левитанскому и его соседу Самойлову, в дом в Астраханском переулке, шутили: вот-де классический пример Оптимиста и Пессимиста. Все-то у них совпадет, начиная с учебы в ИФЛИ и войны “от звонка до звонка” и кончая сердечными передрыгами преклонных лет, болезнями своими и малых детей, кругом общения — и вот Самойлов живет — не нарадуется, а Левитанский вечно жалуется. Теперь я думаю, что наше наблюдение было поверхностным и несправедливым. Если обратиться к стихам, все предстает с точность до наоборот: взгляд Самойлова на природу вещей с годами делался жестче и мрачнее, взгляд Левитанского — яснее и прозрачней».

Окончив школу, Давид Самойлов (тогда еще Дезик Кауфман) поступил в ИФЛИ. В ту пору Институт философии, литературы, истории слыл элитным учебным заведением. Его профессора и

преподаватели уже составляли или вскоре составили цвет отечественной гуманитарной наук. Античную литературу читал Сергей Радциг, латынь — Мария Грабарь-Пассек, литературу Возрождения Леонид Пинский.

В новой ученой компании Дезик почувствовал себя «последним человеком». Однако продолжалось это недолго: вскоре он был признан «ифлийским поэтом», и ситуация в корне изменилась! Дело в том, что в ИФЛИ бытовал некий ритуал посвящения в поэты, который проходил один раз в году, осенью, после начала учебных занятий. Звания «ифлийского поэта» удостаивались немногие — буквально единицы — причем официальный статус за пределами института не имел особого значения. Во времена Самойлова, среди незабываемых сегодня поэтов ифлийского признания добились разве что Павел Коган и Сергей Наровчатов, а, например, уже известный и печатавшийся Лев Озеров таким статусом не обладал.

Дело было так. В одной из аудиторий собиралось довольно много народу. Сначала под общий одобрительный рокот читали «звезды», потом очередь доходила и до «новичков», в том числе новоявленных ифлийцев. Вот и в этот раз: после выступления «маститых» наступила неловкая пауза. И тут бывшие одноклассники Давида, теперь, как и он, студентки ИФЛИ, стали выкрикивать его имя: «Де-зик! Де-зик!» Сперва Давид оробел. Но его вытолкнули вперед, к кафедре, и ему ничего не оставалось, как прочитать уже написанных в ту пору «Плотников», а потом и еще несколько стихотворений, имевших заметный успех у собравшихся. После окончания «заседания» к Давиду подошел сам Павел Коган, бесспорный лидер «ифлийских поэтов», пожал руку и предложил вместе идти домой к метро через парк «Сокольники». Это было признание.

Левитанский уверял, что вступить в «кружок поэтов ИФЛИ» было никак не легче, чем в Союз писателей СССР в последующие годы.

Следующей ступенью на лестнице «ифлийской поэзии» стала для Давида встреча со знаменитым поэтом той поры Ильей Сельвинским, сразу признавшим дарование молодого стихотворца и пригласившим его в свой семинар при Гослитиздате, куда мэтр, по словам Самойлова, «собрал чуть не всех способных молодых поэтов Москвы».

К осени 1939 года благодаря семинару сложилась поэтическая группа из шести человек, членов которой по инерции и привычке до

сих пор именуют «поэтами-ифлийцами». На самом деле, это не совсем так... Павел Коган, Сергей Наровчатов, Давид Самойлов, как уже было сказано, и в самом деле учились в ИФЛИ. Однако другие члены «шестерки» — нет: Борис Слуцкий учился в Юридическом институте с 1937 по 1941 год, а с 1939-го — еще и в Литературном; Михаил Кульчицкий и Михаил Львовский — в Литературном институте им. Горького. После реформы Литинститута в 1939 году некоторые ифлийцы перешли в его стены, а, например, Наровчатов учился одновременно в ИФЛИ и заочно в Литинституте. В итоге в 1941 году во время эвакуации в Ашхабаде ИФЛИ был объединен с МГУ.

Забавное стихотворение поэта Николая Глазкова хорошо рисует студенческие будни тех лет:

Тряхнуть приятно стариною,
Увидеть мир в табачном дыме,
И вспомнить мир перед войною,
Когда мы были молодыми.

Тянулись к девочкам красивым
И в них влюблялись просто так.
А прочий мир торчал, как символ,
Хорошенький, как Пастернак.

А рядом мир литинститутский,
Где люди прыгали из окон,
И где котировались Слуцкий,
Кульчицкий, Кауфман и Коган.

Павел Коган («старец» по словам Левитанского) считался в те годы едва ли не лидером поэтического поколения. Он был упрям и прямолинеен, суждения его часто бывали безапелляционными. Претензии огромны, чрезмерны. Он работал над романом в стихах «Владимир Рогов», который претендовал на роль «Евгения Онегина» своего времени. Окончить его поэт не успел.

Левитанский считал Когана «одним из самых умных и самых талантливых людей своего поколения», подчеркивая, однако, урапатриотизм и даже вселенский экспансионизм некоторых его стихотворений, в том числе и хрестоматийных строк знаменитого

«Лирического отступления», написанного в 1941-м. При этом Левитанский цитировал:

*Но мы еще дойдем до Ганга,
Но мы еще умрем в боях,
Чтоб от Японии до Англии
Сияла Родина моя.*

После Когана прочно жива сегодня только песня «Бригантина», написанная им в юности, в 1937 году. Музыка к ней сочинил Георгий Лепский, в ту пору едва ли не школьник. Лепский был призван в армию еще на Финскую войну, прошел всю Великую Отечественную, демобилизовался в чине младшего сержанта, окончил Педагогический институт, преподавал изобразительное искусство, был одним из видных участников движения самодеятельной песни в России. Георгий Соломонович Лепский дожил до XXI века — он умер в 2002 году в возрасте 82 лет. А «Бригантину» пели ифлийцы 30-х, школьники 50-х — 60-х, туристы 70-х — 80-х, поют и сегодня, часто ничего не зная об авторах песни.

Судьба Павла Когана сложилась иначе. Война застала его в геологической экспедиции в Армении. В Москву он с трудом добрался только осенью, поступил на курсы военных переводчиков и в чине лейтенанта был направлен в полковую разведку, погиб при выполнении боевого задания в сентябре 1942 года под Новороссийском.

«Зная характер Павла, могу себе представить, как все это происходила, — напишет Давид Самойлов. — Наверно, очень нужно было взять языка. Предстоял трудный ночной поиск в районе высоты Сахарная Голова. Коган, переводчик полкового разведотдела, мог бы дожидаться штабе, когда разведчики приведут пленного. Или не вернуться. Он сам напросился в поиск. Он был смел и азартен. Не мог не пойти».

Свой избыточный патриотизм лейтенант Павел Коган оплатил жизнью.

Из шестерки «друзей-ифлийцев» (на самом деле, «семинаристов» Ильи Сельвинского) с войны не вернулся и поэт Михаил Кульчицкий; он погиб во время наступления после Сталинградской битвы в январе 1943 года. Имя младшего

лейтенанта Кульчицкого выбито в Пантеоне Славы на Мамаевой кургане.

Через десять дней после начала войны Давид оказался под Вязьмой на станции Издешково, куда по распоряжению райкома комсомола он был направлен на строительство «укрепленных рубежей». Однако уже в начале сентября комсомольцев вернули в столицу. Город пустел... «В ИФЛИ, переселившимся на Пироговскую, тоже никого не было, в канцелярии валялись на полу бумаги и документы, маленькая записка предлагала студентам своими средствами добраться до Ташкента», — вспоминал Самойлов.

Пришло время ехать и Кауфманам. На небольшом прогулочном пароходе семья перебралась в Куйбышев, — там жили их родственники. Давид серьезно заболел, однако через две недели они продолжили путь в Самарканд, где прожили полгода. Отец получил работу в больнице, Давид поступил в пединститут. По утрам он стоял в очереди за пайковым хлебом, а потом читал, занимался, писал курсовую работу о «Войне и мире» Льва Толстого. Когда военкомат предложил студентам поступить в «офицерское училище», Давид сразу написал заявление.

Вскоре команда новобранцев высадилась из поезда в Катта-Кургане Самаркандской области. Тамашнее учебное заведения именовалось Гомельским военно-пехотным училищем, где готовили младших офицеров для фронта.

«Степь под Катта-Курганом покрыта светло-зелеными пыльными колючками, — писал Самойлов. — По этой степи мы ползали с утра и до обеда и с обеда до вечера, изучая тактику и все прочее, нужное для войны. Руки и колени в занозах. Гимнастерки и брюки в дырах. Потом это все надо было залатывать и очищать от едкой пыли, отмывать соль, коркой засохшую на лопатках». Но «строгости» на этом не ограничивались. Пить до обеда не разрешалось, — только один раз прополоскать рот водой. Из-за скверной воды большинство курсантов «маялись животами». Отбой был в одиннадцать вечера, подъем — в шесть утра.

Через некоторое время недоучившихся лейтенантов срочно отправили рядовыми на фронт. В течение двухнедельного пути эшелон миновал Куйбышев, а потом и Москву. Однако надежда Давида пополнить свои иссякшие «продовольственные запасы» у родственников и родных не оправдалась, — встретиться с ними не удалось. На пятнадцатый день эшелон остановился в Тихвине.

Передовая находилась в нескольких сотнях метрах от станции и проходила через опушку заболоченного леса с бревенчатым забором в рост человека в нескольких местах. Но он спасал разве что от шальной пули. От минометных обстрелов укрывались в дзотах или землянках. В землянках солдаты жили — ели и спасли, не раздеваясь. Во время караула бойцы лежали в дзотах при пулемете, вглядываясь через амбразуру в нейтральную полосу, заросшую кустарником.

Дзоты и землянки худо-бедно укрывали от минометного огня, но от артобстрела, в сущности, защиты не было. «Посасывало под ложечкой от тревожной близости смерти», — напишет Самойлов через много лет...

Под Тихвином Давид служил всю зиму 1942 и 1943 годов. Новобранец был определен в пулеметный расчет второго батальона Горно-стрелковой бригады. Размеренный ритм жизни на передовой нарушали только обстрелы немцев, в ответ наши били почти наугад. Но вдруг все смолкало внезапно, как и начиналось. Дневников вести не полагалось. Но как комсорг роты Давид делал отметки в небольших записных книжках: планы мероприятий, темы политбесед, короткие записи о состоянии дел. Стихов он в ту пору не писал, однако записывал отдельные строки и строфы. Привыкал помаленьку. Даже вшей поубавилось — спасибо солдатской каше, бане и какому-то странному успокоению, посетившему молодого солдата.

В обороне время тянулось медленно. Но 12 января 1943-го войска Волховского фронта начали операцию по прорыву блокады Ленинграда. Комсорг роты Кауфман читал в пулеметных расчетах приказ о наступлении, передвигаясь по траншеям на передовой. На участке, где служил Давид, затишье продолжалось до марта. Но после приказа «проверить пулеметы» все поняли, что скоро в бой.

Вечером 25 марта бойцы заняли окопы первой линии немецкой обороны, накануне оставленные немцами. С наступлением темноты противник начал минометный обстрел. Задело командира расчета, и его увели санитары. Ночью пришел связной от командира пулеметной роты и сообщил, что ранен замполит, — заменить его должен Давид. Но поскольку никаких команд не поступало, комсорг решил пока оставаться у своего пулемета. Под утро немцы снова открыли минометный огонь, и один из солдат подразделения, где

служил Давид, был ранен в ногу. С рассвета началась артподготовка нашей артиллерии. Поступил приказ выходить из окопов.

Когда Давид оперся о землю, чтобы подняться и встать на ноги, он увидел как бы остановившийся кадр немого фильма, застывшую картину. Увиденное в тот миг он мог бы пересказать в точности через много лет. Потом, уже идя по твердой земле, он руководствовался скорее подсознанием, надежно оберегавшим бойца, чем какой-то определенной целью. Время от времени, вопреки всему, являлся некий «азарт действия», вскоре вновь растворявшийся в подсознании.

Между тем солдаты не спеша шли вдоль опушки леса. Бойцы тянули пулемет, Давид нес запасные коробки с лентами. Откуда-то слева доносился густой пулеметный огонь, отзвуки минометов и артиллерии немцев. Расчет, пользуясь относительным спокойствием на своем фланге, медленно приближался к противнику, прячась за деревьями и опасаясь лобового обстрела. Бойцы толком не знали, что происходит справа и слева от них, они просто выполняли приказ командира взвода — после артподготовки двигаться вперед.

Вскоре пулеметчики догнали десяток пехотинцев из роты, которой был придан их расчет. И тут из-за кустов ударила пулеметная очередь. Впереди, шагах в тридцати, они увидели вражеский дзот. Бойцы подползли поближе к дзоту, почти обойдя его с тыла. При поддержке пехоты, атаковавшей дзот гранатами, они подавили немецкую боевую точку и ворвались внутрь. Живых там не было. Окрыленные удачей, солдаты вновь двинулись вперед вдоль опушки леса.

Не прошли они и сотни метров, как немцы атаковали их минным огнем. Бойцы отошли и укрылись в траншее. При отходе миной был убит пулеметчик. Рядом с ним на снегу валялись коробки с патронными лентами. Солдаты оттащили пулемет назад, укрывшись в окопе. Когда стрельба немного поутихла, Давид оставил бойца у пулемета и полоз за коробками, понимая, что они скоро понадобятся. Он дополз до коробок и поволок их за собой. Немцы вновь усилили минометный обстрел. Когда до окопа оставалось шагов двадцать, Давида миной «огрело, как палкой, по руке». Рука онемела. Зачем-то он встал в полный рост, и тут же упал, оглушенный взрывной волной. Очнулся он в траншее, куда под градом мин, рискуя жизнью, его перенес остававшийся в живых товарищ.

Рука Давида «висела, как чужая, не болела, а только мерзла». Кровь сочилась из наскоро перевязанной раны. Опираясь на карабин, он ползл к исходному рубежу атаки. Почему он направился именно туда, сам не знал; скорее всего, потому что другой дороги просто не ведал. До медсанбата он добрался уже ночью. Просторные палатки были набиты ранеными, врачи и медсестры валялись с ног...

В письме командира роты родителям Давида этот эпизод «маленького боя» назывался «взятием укрепленного пункта противника», а поведение солдата — «проявлением геройства и отваги».

Самойлов, как сон, вспоминает свое кочевье по госпиталям в «вагонах санлечучки», пока уже во второй половине апреля не оказался в эвакуогоспитале в Красноуральске. Едва оправившись от ранения, начал читать книги из бывшей школьной библиотеки — все подряд: Стендаль, Алексей Толстой, Всеволод Иванов и даже первый том «Эстетики» Гегеля. Только к июню он окончательно встал с койки. И лишь в августе он выписался окончательно. Ему предстояло четвертый раз за время войны пересечь Россию — теперь снова с востока на запад. Давида привезли в лагерь запасного полка в Горьком, где в речном порту вместе с другими солдатами погрузили на небольшой пароход. Высадили на пристань в Лыскове, откуда пешком ходу километров тридцать вдоль Керженца до Усть-Ялокши, где и разместили во временном лагере для заготовки дров. «Валить лес — работа тяжелая, но здоровая, — писал Самойлов. — С рассвета до трех-четырёх дня мы валили березы и елки, обрубали ветки, крыжевали стволы и таскали на плечах двухметровые поленья километра за полтора к реке».

Ходил слух, что солдаты зазимуют на Керженце. Однако вскоре пришел приказ возвращаться в Горький. Давид был направлен в полк в Красных казармах и назначен ротным писарем. Там и встретил 1944 год. Ему повезло: вскоре удалось получить командировку в Москву и повидаться с родителями.

Однако солдат твердо решил вернуться на фронт.

«В Москве тогда из молодых поэтов находился один Семен Гудзенко, — вспоминал Самойлов. — Я его разыскал, мы по-доброму встретились. Семен был в полуштатском положении. И уже в полуславе, к которой относился с удовлетворенным

добродушием. Он был красив, уверен в себе и откровенно доволен, что из последних в поколении стал первым».

И это понятно: Гудзенко ведь учился на два курса младше Самойлова, никаким «ифлийским поэтом» не был, курс не окончил и наверняка, как и его друг Левитанский, воспринимал старшекурсников как почтенных старцев отечественной поэзии. В отсутствие Когана и Кульчицкого при поддержке И. Эренбурга в конце войны действительно одно время он занял вакансию первого поэта ифлийского поколения. «Гудзенко был одаренный поэт, тогда еще искренний. В стихах его были точные и меткие строки» — напишет о нем Самойлов в своих воспоминаниях.

Квартира в Хлебниковом переулке, где жил Гудзенко, отапливалась плохо. Поэты сварили пшенки, выпили водки и легли спать рядом под двумя шинелями. Наутро Гудзенко повел Давида к Эренбургу, главному публицисту военного времени, для многих олицетворявшему идеологию власти. Он занимал номер в гостинице «Москва», угощал молодежь коньяком, расспрашивал о фронте и солдатах, просил почитать стихи. На просьбу Давида о возвращении на фронт, ответил спокойно: «Ну что ж, ведь вы туда проситесь, а не обратно».

Давид показал ему письмо своего товарища Льва Безыменского, в котором содержалось нечто вроде вызова из разведотдела 1-го Белорусского фронта. Эренбург позвонил начальнику Главразведупра Генерального штаба генералу Ф.Ф. Кузнецову и легко решил, казалось, неразрешимую проблему дальнейшей службы ефрейтора Кауфмана.

Давида определили комсоргом в разведроту — третью отдельную моторазведывательную роту разведотдела штаба 1-го Белорусского фронта.

К весне штаб переместился на запад и остановился километрах в ста от линии фронта, вслед двинулись и разведчики. До лета 1944 года служба их заключалась в сопровождении штабных офицеров в их командировках на передовую. В июне 1944-го разведчики выехали на задание против бендеровцев в район города Новгород-Волынского и расположились в селах у реки Случ. Давид был назначен командиром над разведгруппой, состоящей из десятка солдат. Они окопались на высоком берегу у переправы близь села Березно. В их задачу входило наблюдение за переправой и сбор информации у местных жителей о бендеровских главарях,

действовавших в здешней округе. Но однажды приехал связной от командира роты и сообщил, что наши войска оттесняют бендеровские формирования к переправе через Случ. Впрочем, противник так и не появился, вероятно, им удалось ускользнуть, растворившись в лесу.

Вскоре штаб фронта продвинулся на запад, и разведчики получили приказ передислоцироваться в город Седльце, поближе к штабу.

В конце лета стали доходить слухи о Варшавском восстании. В разведотделе знали многое, но офицеры помалкивали. Давиду пришлось участвовать в переброске группы советских парашютистов в Варшаву. Впоследствии он узнал, что многие десантники погибли.

Большое наступление началось только зимой. 12 января 1945-го разведчики получили приказ следовать в западном направлении. Вот выдержки из дневника ефрейтора Кауфмана того времени...

«13 января. Вчера выехали на задание в одну из левофланговых армий фронта. Шоссе забито колонами грузовиков, следующих к передовой. [...] Расположились в деревушке, затертой песчаными дюнами.

14 января. Всю ночь била артиллерия немцев. Снаряды ложились где-то правее нас, и в хате дрожали стекла... Проснулись от артподготовки. Началось...

15 января. Сегодня в середине дня пересекли бывший передний край немцев. Вчера здесь шел бой. Брошенные каски и оружие, кровавые тряпки, полураздетые трупы фрицев. Картина, вызывающая щемящее чувство тоски.

16 января. Ночью привели пленного. Допрашивали его с помощью разговорника... Потом привели еще двадцать пленных. Среди них трое офицеров...

В селе Пелотко попали под обстрел немецких минометов и батареи, засевших в Илже. Начали выбивать из Илжи арьергард противника. Тут погиб Глазов, молодой солдат. Я почти спокойно смотрел на его тело, развороченное гранатой...

17 января. Хлевиско. Взят в плен немецкий ортскомендант. Команда его разбежалась. Объяснялся с ним по-французски. По гражданской специальности он — пастор.

Днем прибыли в Склобы. Здесь кончается шоссе, и мы уперлись в лес... Ведем разведку в напр. Хуциско... Ночью ездил устанавливать связь с нашими частями по шоссе и двум боковым

дорогам. Тьма непроглядная. Сзади нас, километров на 20, наших войск нет.

18 января. Под утро допрашивали лазутчиков-поляков, посланных немцами разведать Склобы. Они нарвались на нашу заставу...

Эугенюв. Немцы прорвались на ту же дорогу, по которой движемся мы. Они наступают нам на пятки. Слева мрачные пожары польских деревень.

19 января. На шоссе Радом—Опочно десятки разбитых немецких машин, штабных, грузовых, легковых. Кровавые мерзлые тряпки. В кюветах и рядом, на поле, валяются обезображенные трупы с задранными к небу головами и окровавленными лицами. Здесь работали наши танки...

20 января. Опочно. Чудом отыскался студебеккер с продовольствием. Только собрались ужинать, эскадрон немецких кавалеристов ворвался в город и рванул на нашу улицу. Мы, однако, не растерялись и, развернув пулеметы, ударили вдоль улицы. Немцы повернули обратно.

23 января. Ночью проехали по окраинам Варшавы».

С конца февраля разведчики стояли в городе Мандзыхуде. И только 13 апреля они двинулись к городу Ландсбергу. Не доезжая Шверина, они встретили указатель с надписью: «Здесь была граница Германии».

Утром 16 апреля бойцов разбудил гул канонады. Началось сражение, которое положило конец Второй мировой войне — битва за Берлин. Разведчики с трудом пробивались по автостраде Варшава — Берлин, сплошь забитой военной техникой, и никак не могли добраться до передовой, откатывающейся к столице Германии. Догнав передовые части, разведчики действовали вместе с пехотой, по ночам добывая языков, а днем посменно ведя наблюдение за противником. В конце апреля бойцы получили приказ прорваться в городок Вернойхен и захватить локаторную установку. Теперь они передислоцировались в Ораниенбаум к северу от Берлина. Но ночам слышалась канонада. На юге стояло дымное зарево.

30 апреля разведчики получили приказ двигаться в город Штраусберг, где располагался штаб фронта.

«У нас было двойственное чувство, — вспоминал Самойлов. — Желание участвовать в последнем победном сражении, чувство победы и — с другой стороны — естественное стремление дожить до этой победы, поскольку она так уже близка, и столько до нее пройдено, и так она выстрадана, — естественное стремление сохраниться и не погибнуть в последние часы огромной битвы».

2 мая солдаты узнали, что Берлин пал. В Штраусберге было тихо, город был почти пуст.

7 мая под утро прошел слух, что «объявлена Победа». Бойцы выскочили на улицу и принялись стрелять в воздух. Из штаба фронта сообщили, что «Победа еще не объявлена».

8 мая о Победе оповестило английское радио. Ликование вспыхнуло вновь...

9 мая 1945 года, когда штабной офицер «официально» сообщил, что Германия капитулировала, разведчики достреляли оставшиеся патроны и выпили за Победу.

Война окончилась.

5. «По серым дорогам, по дикой жаре...»

Левитанский рассказывал, что 53-я Армию должны были передислоцировать в теплую и спокойную Одессу. Однако высшее руководство решило иначе. В результате Левитанский оказался в Монголии на «маленькой войне» (так он говорил) с Японией.

В июне 1945 года подразделения 53-й Армии по железной дороге отправили в Монголию. Состав проследовал по маршруту Прага — Варшава — Минск — Москва и далее на восток, всего 40 суток пути. Остановки поезд делал только ночью.

В середине июля в городе Чойбалсан была сосредоточена группировка советских войск, в том числе и подразделения 53-й Армии.

«Маньчжурский поход» — заключительный поэтический цикл в книге Левитанского «Солдатская дорога» с многочисленными топографическими именами — хорошо отражают реальную военную ситуацию на местности. Кроме топонимов — Керулен-река, Большой Хинган, город Фусин и других, в текстах немало и важных бытовых подробностей с ценной информацией о военных буднях на экзотическом Востоке.

...В начале августа 53-я Армия была включена в Забайкальский фронт, которому предстояло участие в Хингано-Мукденской операции. Задача войсковых соединений фронта выглядела так: форсированным маршем пройти территорию Монголии, потом пустыню Гоби, преодолеть хребет Большой Хинган и выйти в тыл Квантунской армии. Японцы считали, что такой переход не возможен.

Марш, начавшийся 20 июля, был крайне тяжелым. Мемуарист, участник событий, пишет: *«Неласково встретила воинов мертвая, раскаленная пустыня. С каждым днем все глубже и глубже вторгались гвардейцы в безлюдное, унылое пространство монгольской безводной степи. Она удивила людей своей бескрайностью, казалось, ей не было конца. Ни деревца, ни травинки, кругом раскаленный песок, а над головой нещадно палящее солнце. Ночью же температура была минусовой».*

Снова рассвет.

На этой заре

Начнутся четвертые сутки похода.

По серым дорогам,

по дикой жаре

Трясутся обозы, пылит пехота.

Как медленно тянутся версты пути!

Когда уже в легкие пыли набьется

И нету желания кроме —

дойти! —

Мы вдруг различаем приметы колодца...

(«Поход», «Солдатская дорога»)

«Части растянулись длинной вереницей, — продолжает мемуарист. — Был установлен строжайший питьевой режим. Боеприпасы и вооружение транспортировались на конских вьюках, на верблюдах. 12 дней твердо шагали гвардейцы, глубоко утопая в песке. Постепенно люди стали уставать, падать. Но они снова поднимались и шли на штурм мертвой пустыни. В последние дни преодоления пустыни Гоби, когда на горизонте стали вырисовываться предгорья Большого Хингана, когда люди, казалось, совсем выбились из сил, командир дивизии приказал развернуть в частях боевые знамена».

За двенадцать дней войска преодолели безводную пустыню Гоби и вышли к Большому Хингану, — его ширина 300 км горного бездорожья.

«Медленно, по два-три километра в час двигались полки на перевалах. Движение давалось с большим напряжением сил и воли. Камень, покрытый сплошной пеленой тумана, отсутствие растительности — вот что увидели на вершине Хингана гвардейцы. И вот Большой Хинган взят! Небольшие гарнизоны японцев, прикрывавшие подступы к Маньчжурии, не выдерживали натиска частей дивизии. Бросая оружие, японские солдаты оставляли боевые позиции. Пленные говорили, что они никогда не ожидали, что русские появятся именно здесь, что преодоление Хингана в этом месте — это подлинное чудо».

Эти воспоминания точно соответствуют фактам, настроению, а также топонимике стихотворений цикла «Маньчжурский поход», что наглядно свидетельствует о непосредственном участии поэта и солдата Левитаского в этой сложнейшей военной операции.

Между тем, события развивались с удивительной быстротой.

23 августа войска вышли к Маньчжурии.

27-28 августа — форсировали реку Ляо-хэ (упоминается Левитанским в одном из стихотворений цикла) и вышли к городу Тун-ляо. Преодолев переход в 1500 км, войска появились в тылу японцев, что было для тех полной неожиданностью.

2 сентября 1945-го после молниеносного разгрома Квантунской армии был подписан акт о капитуляции Японии. И уже в октябре 1945 года после возвращения в Россию 53-я Армия была расформирована. Левитанский оказался в Иркутске.

9 мая 1946 года «военнослужащий редакции газеты “Советский боец” Восточно-Сибирского военного округа» лейтенант Юрий Левитанский был награжден медалью «За Победу над Японией».

Много лет пройдет... Давид Самойлов издаст около трех десятков сборников оригинальных стихов и переводов, литературоведческий труд «Книгу о русской рифме», а в перестройку — и двухтомник (1989). Песни на его стихи будут исполнять барды и даже «официальные» композиторы. Он станет одним из самых известных поэтов своего — военного — поколения. Еще в советское время он будет награжден Орденом Дружбы народов (1980) «за заслуги в развитии советской литературы», а потом и Госпремией СССР (1988). Самойлов вместе с семьей будет

жить в Безбожном (ныне Протопоповском) переулке в одном подъезде со своим другом Юрием Левитанским и, даже перебравшись в Пярну, изредка появляться в своей московской квартире. Вот тогда между двумя близкими друзьями, фронтовиками, разгорится нешуточный спор о минувшей войне — чем стала Отечественная Война для них, для их поколения, для страны...

В одном из интервью 90-х годов Левитанский прямо скажет: «Отношение к военной теме было, кажется, единственным, в чем мы не сходились с Давидом Самойловым, человеком оригинального, мощного ума».

Вдова Давида Самойлова Г.И. Медведева, часто присутствовавшая при разговорах двух поэтов, писала: «Участие свое во фронтовых действиях задним числом Юра решил считать если не вовсе ненужным, то неудобным, по крайней мере, объясняя, что «был Маугли, выросший в джунглях» и не знал всего, что известно сегодня о преступной власти, и тем самым как бы защищал ее с оружием в руках. То, что защищал Родину, — выпадало. Отказ от собственной судьбы, какой бы вновь поступившей информацией ни был вызван, все же удручал».

Вот как это объяснял сам Левитанский...

«Когда меня спрашивают, как вы этого не понимали, когда все так очевидно, я отвечаю: я был Маугли, выросший в джунглях и ничего другого не видевший. Откуда Маугли мог знать о существовании другого мира? Если в нашем круг кто-нибудь знал правду или догадывался о ней, даже среди родных, он вряд ли решился бы сказать об этом подростку».

В начале войны Левитанский, как почти все его однокурсники, ушел добровольцем в самые первые дни. «Мы уходили воевать, — рассказывал поэт, — строим пели антифашистские песни, уверенные, что немецкий рабочий класс, как нас учили, протянет братскую руку, и осенью мы с победой вернемся домой».

Понимание пришло гораздо позже, постепенно, окончательно сложившись в конце 80-х годов, когда были обнародованы многие документы, до той поры остававшиеся недоступными для общества.

«Я не люблю говорить о войне, ухожу от расспросов о тяжелом ранении... Я решительно пересмотрел свое отношение к войне... А ведь испытывал больше вины, чем счастья, поскольку странам

Восточной Европы принес, по сути, не свободу: “Ну что с того, что я там был...” — первый своеобразный итог моих размышлений».

Давид Самойлов считал иначе: «Солдат 41-го года, и 42-го, и 43-го воевал против злой воли и несправедливой силы нашествия. Он воевал на своей земле, оборонял свою землю. Патриотизм 41-43-го годов был самым высоким и идеальным. В нем было нравственное достоинство обороняющегося патриотизма».

Однако, по его мнению, в 1945-м ситуация изменилась, он писал: «Армия сопротивления и защиты неприметно стала армией лютой мести. И тут наша великая победа стала оборачиваться моральным поражением, которое обозначилось в 1945 году. Для исторического возмездия за гитлеризм достаточно было военного разгрома Германии и всего, что было связано с военными действиями в стране. Достаточно было морального разгрома фашизма, крушения его доктрины...»

На самом деле, разница позиций двух замечательных поэтов не была такой непреодолимой, как это порой казалось окружающим, а может быть, и им самим. Во всяком случае, споры их никогда не становились причиной обид и недоверия друг к другу...

Из книги «Юрий Левитанский. Небо Памяти. Творческая биография поэта» (М.: Издательство АСТ, 2022

Невозможная встреча

Михаил Козаков

1

14 октября 1994 года в Тель-Авиве на зеленой лужайке пригородного парка Козаковы — Михаил Михайлович, его жена Анна Ямпольская и сын Миша — вместе с самыми близкими друзьями выпили за здоровье юбиляра и таким образом отметили шестидесятилетие одного из самых блестящих артистов России последних десятилетий.

«Моя жизнь оказалась... очень длинной»,— говорил Козаков. Оглядываясь назад, он не без удивления сообщал, что отрезок пройденного им пути вмещает в себя слишком много событий, долгую череду ярких переживаний — от столкновения и переплетения с судьбами не менее яркими, характерами выдающимися — и в повседневной жизни, и в сценической работе.

Козаков любил возвращаться к своему детству и вспоминал его подолгу, удивляя собеседников занимательными подробностями. Его отец, писатель Михаил Эммануилович Козаков, родился под Полтавой, где делил свои детские игры с «Дуней», будущим знаменитым композитором Исааком Дунаевским. Мать, Зоя Александровна Никитина, также литератор. И жили они в писательском доме на Канале Грибоедова в Ленинграде, где Козаков родился и вырос. Все его детские впечатления готовили мальчика к будущей стезе — не только замечательного артиста и режиссера, но и тонкого знатока поэзии, блестящего чтеца, талантливого писателя-мемуариста.

В том же доме, по соседству с Козаковыми, жил Михаил Зоценко, «дядя Миша», а также «дядя Женя» Шварц, по пьесе которого Михаил Михайлович через много лет поставит телефильм «Тень». В квартире напротив проживал известный литературовед Борис Михайлович Эйхенбаум. В доме часто бывала Анна Ахматова, и он помнил, как она читала свои стихи. Позже, в Москве, он не раз слышал Бориса Пастернака. Эта атмосфера, преломившись в детском характере, формировала мастера.

Интересно, что Козаков никогда стихов не писал, даже в детстве, но любовь к поэзии явилась, по его собственному выражению,

«неизлечимым недугом». Он вообще никогда специально не заучивал стихов для эстрады: стихотворение как бы помимо его воли «проникало внутрь», а вскоре являлась необходимость «поделиться им» с окружающими.

В Ленинградском Дворце пионеров Миша Козаков занимался в кружке художественного слова вместе с другим замечательным мальчиком — Сережей Юрским. Однажды им выпало счастье читать стихи самого И. В. Сталина!

«Представьте эти послевоенные годы,— рассказывал Козаков,— когда победа в войне ассоциировалась с именем Сталина... И ты стоишь гордый, в красном пионерском галстуке, счастливый от того, что именно тебе выпала честь читать его стихи,— и это правда, и от нее никуда не денешься... А в это время твоя мама второй раз в тюрьме, а в коридорах нашего писательского дома еженощно слышен стук сапог, а это значит, что кого-то опять уводят,— это тоже правда, и от нее тоже никуда не деться. Так моя жизнь начиналась, и так она идет — в невероятном качании сознания, и спрятаться от этой жизни нельзя... В Израиле, между прочим, тоже...»

Его «шестидесятничество» началось еще в конце пятидесятых с поступлением в школу-студию МХАТ, где Козаков встретился со своими соучениками, замечательными артистами, оставившими заметный след в театральной культуре России: сокурсниками Евгением Евстигнеевым, Олегом Басилашвили, Виктором Сергачевым; старшекурсниками — Галиной Волчек, Леонидом Броневым, Игорем Квашой; «младшими» — Валентином Гафтом, Евгением Урбанским, Владимиром Высоцким... Здесь «ковались кадры» будущих «Таганки» и «Современника», легенд российского театра.

«Шестидесятничество»... Не все тот же ли это «маятник сознания», о котором твердил Козаков? Белла Ахмадулина однажды заметила: не стоит идеализировать эти самые «шестидесятые»; когда она, молодая, восторженная, декламировала свои вирши в Политехническом, в Ленинграде шел процесс над Бродским.

В самом деле, коротки и зыбки были эти самые «шестидесятые» (да и были ли они вообще?): начавшись «фестивальным» 57-м, они одряхлели уже после «манежного погрома» 62-го, почили в бозе после «дворцового переворота» 64-го и были окончательно раздавлены танками 68-го! Дальше — тишина...

Но если, абстрагируясь от «исторической перспективы», взглянуть прицельно на отдельные судьбы, Михаила Козакова, например, то непростая эта година увидится и «звездным часом», и «российским мартом», коль уж назвали «апрелем» эпоху горбачевских реформ.

Вся творческая биография Козакова в России как на ладони: от роли юного негодяя Шарля Тибо в фильме Михаила Ромма «Убийство на улице Данте» до телефильма «Тень», вышедшего на экраны перед его отъездом в Израиль.

Важно другое: Козаков всегда любил *уходить*, и эти его уходы, казалось, вовсе нелогичные, явились на поверку необходимыми этапами творческого развития мастера. После окончания школы-студии, уже будучи принятым во МХ АТ, он вдруг уходит играть Гамлета к Охлопкову, затем уходит от Охлопкова в «Современник» к Ефремову, потом оставляет Ефремова и переходит к Эфросу, уходит от Эфроса и пускается в «свободный полет», работая в театре, на телевидении, в кино, и, наконец, бросает все — и на 57-м году жизни вместе с семьей отправляется в Израиль.

Это уже была совершеннейшая авантюра: что могла дать русскому актеру и режиссеру маленькая средиземноморская страна с двумя государственными языками — ивритом и арабским, которые он вряд ли мог отличить один от другого, имея в своем лексиконе единственное иностранное слово «шалом»?

Именно этим объясняется повышенное внимание к Козакову со стороны израильской, особенно русскоязычной прессы, а также российских средств массовой информации. Есть в этом что-то от чисто обывательского «спортивного интереса»: «Как он там? Выдюжит? Не сломается?» Не так уж часто немолодой очень известный актер вдруг перемещается в некую пространственную и социальную плоскость с иными измерениями и при этом умудряется не поменять профессии и остаться при своих интересах! Когда уезжает музыкант, спортсмен, художник, физик — понятно. Ситуация будет тяжелой и все же в какой-то мере разрешимой. Ведь эти профессии не имеют жесткой зависимости от языка. Совсем другое дело — актер, эта работа напрямую связана с родным языком, живым словом. Сможет ли он остаться самим собой?

Михаил Козаков приехал в Израиль летом 1991 года.

Согласно предварительной договоренности артист осел в Тель-Авиве для работы в едва начавшем свое нелегкое становление театре «Гешер». Но, как говорится, не судьба... Такое случается.

«...Мне почти сразу же стало ясно, — писал он, — что все мои заготовленные еще в Москве пьесы, поэтические композиции, моноспектакль по Бродскому оказались вне интересов руководства театра «Гешер». Когда я попал на собрание коллектива театра, [...] я впал в угнетенное состояние духа... и понял, что, во-первых, о моей режиссуре и речи не идет, и, во-вторых, как актер (как, впрочем, и другие) я только «обязуюсь, обязуюсь, обязуюсь».

С первых дней в Израиле Козаков начал постигать простую, но очень важную вещь: русский театр в Израиле всегда, при любых условиях экономически нерентабелен, ему просто не выжить из-за отчаянной рыночной тесноты, а стало быть, «Гешеру» либо придется вскоре переходить на иврит, либо благополучно уйти в небытие, что, между прочим, случается с досадной регулярностью с разного рода «эмигрантскими» театрами и театриками. Артист рассудил: если для российского актера переход на иврит неизбежен, не лучше ли приступить к этому болезненному процессу немедленно?

И тут, что называется, подвернулась оказия.

Для постановки чеховской «Чайки» в тель-авивском Камерном театре из России был приглашен режиссер Борис Морозов. Справедливо рассудив, что лучшего исполнителя роли Тригорина во всем Израиле ему все равно не найти, Морозов договорился с руководством театра о предоставлении Козакову временного контракта. Так спустя неделю после своего приезда артист начал работу в одном из двух «главных» театров страны... на иврите.

Работа в Камерном позволила снять просторную квартиру в центре Тель-Авива в десяти минутах ходьбы от театра, где артист поселился вместе с женой Анной и маленьким сыном Мишей.

Но он весьма туманно представлял себе, что ждало его впереди...

Первая реплика Тригорина в пьесе звучит так: «Каждый пишет, как он может и как он хочет». Козаков спросил педагога, как это звучит на иврите, и зафиксировал всю фразу русскими буквами, подробно выясняя, что означает каждое слово. Так он записал всю роль. Он не имел понятия об инфинитиве глагола «писать», но как

надо сказать «я пишу», он знал. Он изучал алгебру, даже не приступая к арифметике.

В первом акте у Тригорина всего пять реплик. Козаков учил их неделю. Но во втором акте чеховского героя, что называется, понесло. Он раздражается пространными монологами на несколько страниц каждый...

Это была поистине титаническая работа, которую мне пришлось наблюдать воочию. На тетрадном листе, разграфленном на три равных столбца, была записана роль по-русски, затем очень крупными буквами на иврите и, наконец, русская транслитерация текста. Козаков, обливаясь потом на сорокаградусной жаре, сидел на диване перед журнальным столиком и громко читал незнакомые слова, мерно ударяя ладонью в такт своей речи. Это продолжалось по несколько часов ежедневно. Плюс, конечно, регулярная работа с преподавателем иврита.

Спустя два месяца артист уже репетировал роль на сцене Камерного театра вместе с актерами, для которых иврит — родной язык. Как говорит он сам, «произошло чудо, помноженное на труд».

Еще, правда, оставался акцент, но в Израиле, «стране эмигрантов», этим никого не удивишь: национальный театр молодого государства строился на русском акценте отцов-основателей из «Габимы». Да вот беда: Тригорин — литератор. По ходу спектакля он время от времени что-то фиксировал в своей записной книжке, причем писал слева направо, как по-русски, и при этом говорил на иврите — «справа налево». Имитация слегка подтачивала замысел. Ну, да это уже частности...

Репетиции «Чайки» продолжались месяца два, прокат спектакля — около трех месяцев. Таким образом, к началу 1992-го года козаковский контракт оказался под реальной угрозой. Но *алия* была еще на подъеме: десятки тысяч новых репатриантов из России ежемесячно прибывали в Израиль. Это обстоятельство предоставило Козакову уникальную возможность — ему удалось заключить новый контракт с Камерным театром на постановку спектакля на русском языке. Для этого была выбрана пьеса Гарольда Пинтера «Любовник», где Козаков предстал уже не только как исполнитель главной роли, но и как режиссер-постановщик. Его партнершей стала Ирина Селезнева, успешная актриса Камерного, прекрасно владевшая ивритом.

Понятно, что расчет был на русскоязычную публику. Театр, вероятно, видел в этом приманку: там полагали, что недавно приехавшие «русские» станут охотно покупать билеты на спектакль с участием знаменитого в России артиста. Над постановкой работали полтора месяца без всякой «посторонней помощи». По словам Козакова, только за три-четыре дня до премьеры появились осветители, реквизитор, она же костюмерша, помощник режиссера и «звукотик». При этом «Любовника» играли не только на выезде, но и в самом Камерном, и даже несколько раз в большом зале на девятьсот мест.

Для Козакова это был «пробный камень».

«Скромные декорации, два актера — Ирина Селезнева и я, музыка, — писал артист. — Катали спектакль по городам Израиля сначала по-русски, потом уже перешли на иврит. Стоили мы Камерному недорого, спектакль принес прибыль».

Ободренный успехом, Козаков решил продолжать. Он ставит второй спектакль по пьесе Пауля Барца «Возможная встреча», но уже в рамках «Русской антрепризы Михаила Козакова».

3

Козаков пристально следит за театральной жизнью в Израиле, особенно ревниво, за новыми постановками «Гешера». Он записывает в 1992-м: «Смотрю спектакли на иврите в “Габиме”, в Камерном и русскоязычном “Гешере”, который вот-вот перейдет на иврит. Из понравившихся — “Гамлет”, эксперимент в малом зале (Камерного — Л.Г.) на 80 человек. “Розенкранца и Гильденстерна” уже видел в Москве, подождем на иврите, остальные спектакли мне не нравятся. «Гешер» приступает к булгаковскому “Мольеру”, пока на русском, поживем — увидим».

Зимой 1992-го, параллельно с театральной работой, он пишет воспоминания о поэте Давиде Самойлове — «Растрепанный рассказ».

Поклонникам артиста хорошо известно, что Козакову никогда не был чужд литературный труд. Более того, он прекрасный писатель-мемуарист, из лучших, работающих в этом жанре. В 1993-м в Тель-Авиве вышла его книга «Рисунки на песке», сборник мемуарных очерков о самых заметных явлениях театральной жизни России начиная с 1956 года, написанных в разное время и по разному поводу.

Теперь, в Израиле, Козаков пишет о недавно умершем выдающемся российском поэте, проживавшем в последние годы своей жизни в Пяну добровольным изгнанником. Он определенно подчеркивает созвучие отчужденного быта «пянского затворника» со своим эмигрантским состоянием.

«Были у него и такие стихи, — пишет он о Самойлове:

Я вдаль ушел, мне было грустно.

Прошла любовь, ушло вино,

И я подумал про искусство:

А вправду — нужно ли оно?

Когда мне становится совсем невмоготу, — продолжает М. Козаков, — эти строки начинают прокручиваться в моем сознании по сто раз на дню, как у пушкинского Германа его “тройка, семерка, туз”: а вправду, нужно ли оно? а вправду — нужно ли оно?.. И я уже знаю, если эти строки пришли на ум, значит, подступает то, чего я больше всего в себе боюсь, — черная депрессия».

Несмотря на кажущееся внешнее благополучие, подобные «черные» минуты неоднократно возвращались к Михаилу Михайловичу — слишком велика пропасть, разделяющая то московское и **это** тель-авивское бытие...

Он записывает в дневнике: «Мы живем в роскошных условиях, в пентхаузе, но все это временно, в долг, это аванс за который мы все заплатим сполна, и расплата будет ужасной... Что делать, и кто виноват? Виноват я — струсил и сбежал из России в поисках лучшей жизни. Что делать?! Бороться, как бедный Иов».

Воспоминания о Самойлове были завершены в конце апреля 1992-го и вскоре опубликованы в Израиле и Москве.

Увлечение Козакова поэзией всегда носило устойчивый и продуктивный характер. В Израиле ничто не изменилось. Все эти годы он регулярно выступал на вечерах со своими «пушкинским и самойловским концертами», как сам артист определяет жанр своих публичных программ. Уже здесь, в Тель-Авиве, он подготовил новую поэтическую композицию по стихам Иосифа Бродского «Я входил вместо дикого зверя в клетку», куда, помимо стихов, были включены воспоминания Козакова, стенограмма суда над поэтом, романсы в исполнении Анны Ямпольской. Он также регулярно публиковал в «местных» русскоязычных газетах очерки-воспоминания о людях, с которыми работал и был дружен — о Роберте Де Ниро, Арсение Тарковском и других.

В конце 1991 года в Израиле творилось что-то невообразимое: ежедневно с трапа самолета сходили сотни, а то и тысячи репатриантов из бывшего СССР. Где селить, чем кормить, как трудоустроить всю эту разношерстную, взъерошенную толпу, прибывшую из разваливающейся советской империи, никто толком не знал. Ни одному государству никогда не понадобилось бы одновременно столько врачей, художников, ученых, писателей, как правило, не владеющих даже основами языка, на котором говорят окружающие! При том, что они обладали разным уровнем понимания ситуации в стране, на Ближнем Востоке, в мире, а часто не имели вообще никакого представления об этом. Раздражение быстро накапливалось в скороспелых общественных союзах и выбрасывалось на страницы «русской» прессы, расплотившейся вдруг, как грибы после дождя, особенно в преддверии предстоящих летом 1992 года выборов в Кнессет, законодательное собрание Израиля. Нужно было всю эту массу организовать в колонны, хотя бы вкратце объяснив, кому им следует отдать свои голоса. Лучше других с этим управились лейбористы из партии «Авода», особо поднатервшие на социальной демагогии.

Впервые я увидел «живого Козакова» на собрании комитета «Интеллигенция в поддержку Ицхака Рабина», куда был приглашен как журналист одной из особенно громкоголосых русскоязычных газет. Комитет, как нетрудно догадаться, был создан для того, чтобы сплотить «русскую» публику и направить ее голоса в нужном «левоцентристском» направлении. Возглавить эту неблагоприятную затею предстояло самому известному и авторитетному из «русских» — народному артисту России Михаилу Козакову. Актера, неискушенного в политике, прельстили обещаниями содействовать развитию культуры, фактически сделав ширмой предвыборной кухни, пахнущей, надо сказать, весьма неаппетитно. Но Козаков, как и большинство «репатриантов» начала 90-х, еще не научился различать непривычно резкие средиземноморские запахи. Вскоре ему сполна припомнят его невольную неразборчивость.

«Я не идеализирую новое правительство, — скажет он в свое оправдание, — но оно все же пытается найти выход из перманентного политического тупика — развязать “арабский узел”. Я не очень верю, что у него что-нибудь получится. Но попытаться

было необходимо. Рабин очень много обещал “русской *алие*”, особенно людям искусства. А сделано очень мало...»

Сегодня, когда мы знаем печальные результаты политики «левых», очень удобно разводить руками, удивляясь наивности артиста, упрекать его в близорукости, а то и в злонамеренности. Что поделаешь, Козаков не был очень прозорливым человеком...

После нашей первой встречи в «комитете» мы договорились об интервью. Так я оказался в его весьма просторной тель-авивской квартире на улице Спинозы.

5

Новым важным этапом вхождения Михаила Козакова в культурную жизнь страны стала его работа над дипломным спектаклем с выпускниками театральной школы Нисан Натив, где он поставил пьесу Михаила Себастьяну «Безымянная звезда», хорошо известную российскому телезрителю. В ходе репетиций он работал со студентами на иврите — без переводчика!

«Студенты были очень восприимчивы и исполнительны,— вспоминает Михаил Михайлович.— Они хотели усвоить мой режиссерский стиль, а я изо всех сил старался отдать им то, что я знаю и умею». И хотя, как и положено дипломному спектаклю, он прошел всего шесть раз, все-таки он был замечен и даже имел успех в кругах израильской театральной элиты.

«Преподавание актерского мастерства — это моя главная гордость, главное достижение здесь, в Израиле, — писал он. — В этом нет и тени компромисса».

Выдающийся режиссер и педагог Нисан Натив, хозяин студии, весьма пожилой человек с безупречными манерами, прежде учился и работал во Франции, владел несколькими европейскими языками. Натив во всем шел навстречу Козакову, платил по «высшей категории» и даже решился на немислимый эксперимент — постановку «Чайки» не по сценам, как положено в рамках учебного процесса, а полностью!

Однако к настоящей режиссерской работе Михаил Козаков приступил лишь летом 1993-го, возглавив проект собственной антрепризы.

Артист вычитал где-то у Бродского, что любители поэзии составляют примерно 1% человечества. По-видимому, не намного лучше обстоит дело и с театрами. Расчет прост: сорок спектаклей

в залах на 500 мест в стране, где живет около семисот тысяч русскоговорящего населения — предел, значит, 3,5%. В России этот процент, пожалуй, не выше, но публики-то куда больше!

Новая постановка Михаила Козакова на русском языке — комедия Пауля Барца «Возможная встреча» — прошла с огромным успехом. Ее сыграли раз сорок! Много это или мало? Для Израиля — очень много, хотя нет ни малейшего сомнения, что в Москве, в «Современнике» или на «Малой Бронной», постановку такого уровня можно было бы тянуть не одно десятилетие. Здесь иначе: даже «Чайка» в Камерном театре шла всего 47 раз, а шумно разрекламированная «Молитва», перенесенная Марком Захаровым в Тель-Авив из Ленкома, — 70 раз. На иврите!

К счастью, «русский» театр не конкурирует о «ивритским» — туда и сюда ходят заведомо разные люди. Зато жесточайшую конкуренцию составляли гастролеры из России, убийственным валом заполнявшие все театральное пространство страны.

«Взгляните на гастрольную афишу последних месяцев! — восклицал Михаил Михайлович. — Все звезды российской эстрады, театра и кино перебивали здесь уже по нескольку раз. Чтобы противостоять этому нашествию, я должен представить зрителю подлинный театр — с декорациями, костюмами, музыкальным оформлением; после спектакля у него должно остаться ощущение, что он на два-три часа вернулся к себе в Москву или Ленинград, вновь прожил кусок своей прежней жизни».

Но вернемся к «Возможной встрече»...

Чем сам Михаил Козаков объясняет несомненный успех пьесы у зрителя?

Прежде всего, огромной предварительной работой.

«Как найти пьесу, которую необходимо играть для репатриантов из России. Каким критериям она должна соответствовать, чтобы вызвать адекватную реакцию у публики? Тут должны сойтись в единый узел многие на первый взгляд исключаящие друг друга факторы. Абсолютно бесперспективно рассказывать им (нам!) со сцены об их (наших!) насущных «эмигрантских» проблемах. Это заведомо гибельный путь. Здесь нужен драматург уровня Чехова, как минимум — Вампилова, чтобы отыскать в этой нашей жизни истинную поэзию и проблемы общечеловеческого масштаба. Где ж такого взять? Работая на злобу дня, мы получим в идеале Хазанова или

Жванецкого. Это прекрасно. Но это иной жанр. Театр — нечто другое... Предложить публике замысловатые проблемы в подаче, допустим, Беккета или Ионеску неразумно — это нашему брату сейчас явно не по зубам. К такому восприятию мы сейчас явно не готовы, для этого, пожалуй, мы еще не достаточно благополучны.

Так примерно рассуждал Михаил Михайлович.

А что же, спрашивается... Бах и Гендель — это нам ближе, что ли? — риторически вопрошал он и сам отвечал: Ближе! — Речь ведь идет о проблемах общечеловеческих и вечных — как прожита жизнь? Две абсолютно разные судьбы. Гендель — эмигрант, человек Мира, он богат, знаменит — и заслуженно: он прекрасный композитор. Рядом Бах, живущий в небольшом городе в бедности, известный лишь небольшому кругу почитателей. Но он гений, которому его собственный внутренний мир дороже всех внешних успехов. Он одерживает победу космического масштаба, оставшись светочем человечества навеки. Вот это проблемы!

Теперь проблема взаимоотношений двух стариков, — залу это близко, в зале много пожилых людей... Далее, семья: Бах женат, у него куча детей — и масса проблем; Гендель холостяк, он свободен, как ветер — но его ждет одинокая старость.

Тема спектакля — высокое искусство, которое возвышает публику. Но это и комедия, здесь много юмора, она дает кислород, необходимый людям, которым сегодня живется нелегко. Тут все сошлось воедино».

Успех спектакля подтолкнул Козакова на новую постановку на русском языке — пьесы Бернарда Слейда «Чествование». Замысел удался. Переаншлаг в «интеллигентском городе» Реховоте в зале на 700 мест. Отличные программки с цветными портретами артистов. Прилична публика, много автомобилей, атмосфера достоинства и успеха...

«Спектакли “Русской антрепризы” мы играли по всему Израилю. Не всегда бывало, как в Реховоте, но в целом — удачно. Мы иногда чувствовали себя полноценными актерами, как когда-то в Москве, в спокойной ночной Москве, где можно было отпраздновать успех в несгоревшем ресторане ВТО, а потом поймать такси и поехать допивать к кому-нибудь...»

Проблема, однако, в том, что каждый из этих спектаклей удавалось сыграть только раз сорок. «Процент» был охвачен. В России «процент» тот же, но огромная страна все же больше русскоязычного Израиля, как бы много «русских» мы там не встречали на улицах. Козаков и его жена Анна ставили спектакли на свои собственные деньги. Занимали, потом отдавали, постоянно рискуя всем. В случае успеха можно было даже получить небольшой доход. Но новый спектакль на эти деньги не поставишь. Приходилось снова занимать! И так — по кругу. А тут еще гастроли московских и питерских театров с известными актерами, массовой, реквизитом, а главное — бюджетом. Куда там Козакову...

Но вопрос оставался: *«Как в рамках своей профессии сделать в Израиле деньги? Как зарабатывать, попросту говоря, оставаясь самим собой, занимаясь своей профессией, хорошо бы еще с удовольствием?..»*

И тут пришла на помощь реклама. Вначале 90-х израильский банк «Дисконт» начал мощную рекламную кампанию среди «новых репатриантов». Развели, что самыми популярными у недавно приехавших «русских» слывят диктор телевидения Марина Бурцева и актер Михаил Козаков, — на них и сделали ставку. Так Козаков заработал свои первые серьезные деньги в Израиле: «Я выбираю банк Дисконт». Яснее и проще не бывает! Гонорар за один день работы составил годовичную зарплату в Камерном театре.

Козаков сетовал: чтобы свести концы с концами, приходится сниматься в рекламе кофе «Элит», где один его съемочный день стоил пять тысяч долларов.

Помнит ли читатель этот рекламный сюжет, крутившийся и по российским телеканалам? Некая танцевальная пара вдруг выбегает на авансцену и неожиданно натывается на Козакова. «Миша, а ты что тут делаешь?» — спрашивает танцор. «Рекламирую кофе Элит», — отвечает артист.

6

Козаковы купили квартиру на Энгель, маленькой пешеходной улочке, напоминающей старый Арбат, в центре Тель-Авива, между бульваром Ротшильд и улицей Иегуды Галеви, неподалеку от театра «Габима». Квартира просторная, но все же не так роскошна, как их прежнее съемное жилье. Главное: как толькоходишь — становятся ясно: это уже не временное пристанище, это его, Козакова,

квартира. На стенах в рамках знакомые лица — Смоктуновский, Самойлов и, конечно, особо почитаемый Бродский. Мы сидим у журнального столика, за которым артист обычно работает над своими ролями, он в кресле, я — на диване, прием по израильской традиции кофе с молоком, уютно беседуем.

Я уезжал в 91 году. Для меня это был очень тяжелый год, я закончил телевизионный фильм «Тень» и понимал, что деньги на новую картину мне вряд ли удастся получить. Это был весьма специфический период в жизни России: государственное кино практически кончилось, а спонсоры еще не появились. Мне выделили миллион, к концу съемок картина стоила два миллиона, и было абсолютно ясно, что если бы я начал снимать сейчас снова, то фильм обошелся бы никак не меньше, чем в шесть миллионов. Таких денег в то время мне никто бы не дал.

Я понял, что снимать телевизионное кино, как я к этому привык — тщательно, на хорошей пленке, как это делает, к примеру, Марк Захаров, как я снимал «Визит дамы» или «Покровские ворота», — так снимать стало больше невозможно.

Концерт Бродского, который я приготовил, работая восемнадцать лет над программой, в это время никого не волновал абсолютно, никаких чтецких концертов не было, телефон молчал... Надо было как-то выходить из положения. Я не актер массовой эстрады, я не занимаюсь шоу-бизнесом! Я читал стихи от Пушкина до Бродского. Кому нужны были тогда эти стихи?

Я уже не говорю о криминале, об антисемитизме...

Я ехал в «русский» театр «Гешер», чтобы играть для «русских» репатриантов. Я думал: поеду — посмотрю, поработаю какое-то время в русском театре. Вот куда я ехал! Я не в Израиль ехал, а в русский театр!

Мое самое большое достижение в том, что я держу свою линию: играю Чехова или Пауля Барца, ставлю Слейда или Пинтера, читаю стихи Бродского... Другое дело, что для этого надо зарабатывать рекламой кофе «Элит».

Потеря? Сколько бы я здесь ни жил, я все равно буду вспоминать «Современник», Эфроса, Москву. Мою дружбу с навсегда близкими мне людьми. Ту атмосферу, в которой я вырос и которую я любил, несмотря на, как теперь говорят, тоталитарный режим. Была у нас какая-то общая ниша — эта

наша жизнь в конце 50-х, в 60—70-е годы. Этого вновь обрести нельзя.

К весне 94-го года в многоликой культуре Израиля окончательно сложился новый культурный проект — «Русская антреприза Козакова». Не театр — а именно антреприза, когда актеры каждый раз собираются для осуществления новой программы. Только в такой форме, удачно найденной Козаковым, русский театр мог экономически выстоять в жесточайшей конкуренции. Спектакль по пьесе Бернарда Слейда «Чествование» потребовал первоначальных вложений — около тридцати тысяч долларов. «Дело не в том, чтобы заработать,— говорил Козаков,— если мы “выйдем в ноль”, значит, выполним свою задачу». Антрепренер сознательно шел на риск. Однако только будучи хозяином спектакля, он мог быть уверен, что никто не будет стоять над душой и произвольно резать смету «по живому».

7

Впрочем, уже к концу 1994-м в творческой судьбе Михаила Козакова наметился «обратный процесс» — активное вхождение в российскую культурную жизнь, правда, уже на новом этапе, теперь обогащенным опытом работы в ином социальном пространстве. Конечно, в действительности он никогда от российской культуры не отрывался, он всегда был ее частью; даже играя на иврите Чехова и Пинтера, он все равно оставался русским актером. И все же новый приход Козакова в Россию — не простое пространственное перемещение, как, впрочем, простым перемещением не были и эти годы работы в Израиле.

Летом Козаков снимается в картине Алексея Учителя «Мания Жизели», посвященной великой русской балерине Ольге Спесивцевой. Съемки проходят в Петербурге, и Козаков использует время для деловых переговоров и встреч.

В январе 1995-го он в Москве, куда приезжает сразу после рижских гастролей своей антрепризы. По дороге в Москву Козаков успевает вновь посетить Петербург, где ведет переговоры с руководством Театра им. Комиссаржевской о новой постановке «Чествования» уже на российской сцене.

В столице он принимает участие в вечере «Московская сага», посвященном творчеству поэтов и актеров-«шестидесятников», а также проводит свою собственную встречу со зрителями в Центральном Доме художника. Везде его встречают с особой

теплотой и вниманием. Он ведет переговоры с Олегом Ефремовым о постановке во МХАТе им. Чехова новой пьесы Григория Горина «Чума на оба ваши дома», оригинальной версии продолжения легенды о Ромео и Джульетте.

«Вы видите,— говорил Михаил Михайлович,— ни духовные, ни личные связи с Россией не порваны... Но и к Израилю я успел прикипеть достаточно надежно: четыре года жизни в корзину не выбросишь. Эта страна дала мне гражданство, она дала мне хорошую возможность воспитывать моего сына и достойно содержать семью. У меня есть мои студенты, которых я очень люблю: они прощают мне мой колченогий иврит. Они хотят от меня получить, а я хочу им отдать. Наконец, у меня есть мой русскоязычный зритель — это немаловажно: публика интеллигентная, она ходит и на мои спектакли, и на мои поэтические концерты: я им нужен, особенно людям моего поколения, и я не могу махнуть рукой и сказать: “А, ладно! Живите там, как хотите!”

Моя мечта — быть и там, и тут, по закону сообщающихся сосудов, и не терять душевных и личных связей ни с Россией, ни с Израилем».

Однако, вскоре после этого разговора Антреприза Михаила Козакова кардинально «сменила прописку»: пришли другие актеры, преобразились звучание и пафос спектаклей. Но отношение мастера к своей профессии, его творческая позиция не претерпели серьезных изменений.

Спектакль по пьесе Пауля Барда «Возможная встреча», впервые поставленный несколько лет назад в Израиле с участием Валентина Никулина (Бах) и бывшего актера Театра на Таганке Виктора Штернберга (слуга Шмидт), в московских реалиях преобразился: Баха играл Евгений Стеблов, а Шмидта — Анатолии Грачев. Роль Генделя неизменно оставалась за Козаковым.

Содержание пьесы представляет вымышленную историю о встрече двух великих композиторов Иоганна Себастьяна Баха и Георга Фридриха Генделя, встречи, которой в действительности никогда не было, но, по мнению историков, могла быть. Богатый и блистательный Гендель приезжает из Лондона в Лейпциг и приглашает на обед бедного и скромного музыканта Баха. Все это выглядит как ненамеренная импровизация, но оказывается, что

поступок Генделя не случаен: оба они с ранних лет всю жизнь неотступно думают друг о друге, завидуют, ненавидят, а порой боготворят один другого.

За бурным каскадом блещущих горьким сарказмом и тонким юмором реплик, смешных выходов и трагических откровений, то решительно выступая на авансцену, а то вдруг замирая в тени кулис, но никогда, впрочем, на исчезая надолго, живет в спектакле еще одна важная тема, может быть, самая трудная в роли Генделя-Козакова — высокая цена признания художника на его Родине. Как выясняется, прославленный по всей Европе великий Гендель вернулся в маленький провинциальный Лейпциг в поисках признания своих заслуг соотечественниками... Вообразите, как слышался этот мотив в Тель-Авиве, в зале, переполненном людьми, отправившимися за тридцать земель в поисках счастья. Оправданием надежды и надеждой на оправдание! Такое признание могло бы показаться безвкусицей, игрой «поэта и толпы» в кошки-мышки... Но риск, как известно, дело благородное, особенно, когда он сопряжен с верным расчетом. Именно там, в «эмигрантском» контексте Тель-Авива ему нужен был такой оппонент в роли Баха, каким предстал Никулин — задумчиво-ироничный интеллигент, с изрядной долей скептицизма воспринимающий все плебейские потуги маэстро из Лондона на безусловное «первородство».

Иное дело в Москве... Здесь таких откровений не примут: скидок на эмигрантскую тоску-печаль не дождешься! «Что ж это ты, снова вернулся, снова на Родину и снова за признанием? Экий моветон!», — скажет зритель. Но будет неправ: ведь теперь Генделю «оппонирует» соевем другой Бах — Стеблов — старый фрондер и брюзга, который буквально топит в безысходности собственного патриотизма все вдруг поблекшие пассажи великого скитальца и «безродного космополита». Таким образом, новое «возвращение» обставленз у Козакова соответствующим случаю антуражем. Пройти по лезвию такого ножа и не сломать себе шею — это, воля ваша, стезя большого художника, умного человека, умелого мастера.

Второй спектакль, который представила Антреприза Михаила Козакова, был поставлен по пьесе Нозля Каурда «Невероятный сеанс» в жанре мистического фарса. Комедийность спектакля подчеркивал перевод с английского писателя-юмориста Михаила

Мишина, а также участие в нем, кроме самого Козакова (Чарльз), таких блистательных комедийных актрис, как Татьяна Дягилева (Эльвира) и Инна Ульянова (Мадам Аркати).

Во время одного из спиритических сеансов, который ради потехи устраивает преуспевающий писатель Чарльз, в нормальную английскую семью из потустороннего мира является давно усопшая жена Чарльза Эльвира и вступает в острое соперничество с его нынешней супругой Рут (артистка Татьяна Кравченко). Задача Эльвиры жестока, но проста: очаровать и уморить Чарльза, а потом навечно увести с собой в обетованные небеса. По нелепой случайности в мир иной отправляется ее соперница Рут, и вот теперь оба призрака его бывших суженых дружно объявляются в доме писателя...

Если бы эта комедия просто представляла смешную историю об одуроченном муже, тогда московская публика, сперва вдоволь навеселившись, а потом с недоумением пожав плечами, вскоре стала бы обходить козаковскую антрепризу стороной. Прекрасная режиссура, искрометный актерский ансамбль, остроумный текст — все это очень мило, но в Москве видали и не такое.

Привлекательность спектакля, несмотря на временную и пространственную отдаленность туманного Альбиона, где происходит действие, — в его подчеркнутой и неожиданной актуальности, в его уместности в московском быте девяностых, вроде простенького анекдота, рассказанного вовремя и «в точку». Постперестроечной выморочной столице, погруженной в нелепый фантазмагорический транс разными кашпировскими и другими более мелкими шарлатанами, вдруг дали возможность поглядеть на себя со стороны. Конечно, Козаков не первый и не последний: начиная с Михаила Жванецкого и кончая нудными пророками так называемой «оппозиции» все наперебой стремились представить нам, по выражению одного острослова, нашу «охмуренность». Но малу кому удавалось сделать это точнее и занятнее, чем Козакову, с шутками-прибаутками предложившему публике свои пилюли, которые она проглотила, веселясь от наслаждения и не задумываясь над ее целительными свойствами, не заметив даже самого факта состоявшегося откровения.

Доходчивый оптимизм козаковских спектаклей способствовал в те годы своеобразному очищению от скверны. Но не только. Спектакли его демонстрировали еще и высокий уровень

художественного творчества: без новомодных фокусов, без кликушества, без дешевой «завлекаловки» он смог на равных конкурировать с московской театральной элитой, сразу став ее естественной составляющей, обрести своего зрителя и держать неослабным его внимание, но в тоже время не прослыть модной «приезжей штучкой», плевавшей на традиции. Обставлено у Козакова.

8

Прошло много лет. Но и сегодня можно услышать, что израильская эпопея Козакова оказалась пшиком: мол, ничего стоящего там ему сделать так и не удалось. Утверждение это несправедливо, чтобы не сказать — лживо.

Многие осуждали Козакова за то, что он покинул Израиль. Вспоминали, что он называл еврейское государство «Израиловкой», говорил, что приехал не в еврейскую страну, а в русский театр (как мы уже знаем, предполагалось, что он будет работать в «Гешере»), намекал на провинциальность тамошней публики... Но дело не в этом: из Израиля уезжали сотни, а то и тысячи «бывших», несли при этом черт знает что, и это никого особенно не беспокоило. Просто Козаков в силу особой масштабности своей личности воспринимался, особенно, людьми старшего возраста, как некий гуру, «вожак» *алии* 1990-х. Конечно, никаким вожаком он не был и на эти почетные звания не замахивался.

В России с Козаковым мы почти не встречались. И все же... Наша встреча состоялась в 2007 году во время съемок документального фильма о поэте Юрии Левитанском «Я медленно учился жить» для телеканала «Культура». Вместе со съемочной группой я приехал в его небольшую квартиру в 3-м Самотечном переулке. Расположились, поставили свет и мониторы. Козаков устроился за своим рабочим столом. Мы немного повспоминали израильское житье-бытье, покойного Валу Никулина, его многолетнего партнера по сцене. А к слову — и поездку в Израиль Левитанского, случившуюся, правда, когда Козакова там уже не было. Он говорил о годах дружбы с Юрием Давидовичем, читал его стихи, пытался рассказывать забавные эпизоды из их жизни, но останавливался, натываясь на воспоминания о ресторане ЦДЛ, — о финале таких историй распространяться не хотелось. Еще он говорил о своей вине перед Левитанским, считая, что недостаточно читал его стихи для публики. Когда мы уходили, Козаков сказал: «А когда мы будем

снимать кино про Валю Никулина?» Ответа на этот вопрос у меня не было...

В Москве второй половины 1990-х и далее на протяжении двухтысячных могло показаться, что годы, проведенные Козаковым в Израиле, не оставили в нем никакого следа. Он много читал со сцены, снимался в кино, играл в театре. Все это артист делал с прежним талантом и блеском. Одним из главных творческих достижений мастера этого периода его жизни видится роль Шейлока в спектакле Андрея Житинкина «Венецианский купец» на сцене Театра им. Моссовета в 1999 году — в разгар торжеств, посвященных 65-летию артиста. В этой роли Михаил Козаков «высказался» не только по «еврейскому вопросу» вообще, но и о своем отношении к Израилю — государству и народу, как он их увидел и понял.

Театральные критики писали, что не режиссер Житинкин выбрал Козакова, а актер Козаков выбрал и пьесу, и режиссера, и театр. Житинкин, мол, позвал актера совсем в другой спектакль, а Козаков твердо сказал: «Хочу играть Шейлока!» Не знаю, так ли это было на самом деле, но на Михаила Михайловича очень похоже! Во всяком случае, «Венецианский купец» в Театре им. Моссовета — это, во-первых, Козаков, во-вторых и в-третьих — тоже Козаков, его актерская мощь, профессиональное мастерство и, главное, знание предмета, то есть понимание глубинной сути явления, которое мастер представлял на сцене. Это знание дал Козакову не пресловутый «голос крови», которого, скорее всего, и не было, а понимание реалий, открывшихся ему за годы нелегкого актерского труда в Израиле, практическое постижение национального характера, с которым (вольно или невольно) ему пришлось идентифицировать себя во время короткой репатриации-эмиграции.

Рядом с Козаковым в спектакле были заняты известные и очень хорошие артисты — А. Голобородько (Антонио), А. Ильин (Бассанио), А. Ленков (Гоббо), А. Макаров (Ланчелот), Е. Крюкова (Порция). Но все они так и остались пестрым фоном шоу-кордебалета, псевдоисторическим антуражем, который нужен лишь для того, чтобы просто оттенять истинную трагедию бытия — не сиюминутный курьез, а вечный кошмар не одного человека, а целого народа.

Шейлок требует для своего оппонента чрезвычайно жестокого, почти безумного, но законного наказания как неустойку за неуплату

долга. И если для Шекспира это был способ подчеркнуть злобное коварство презренного еврея, то для Козакова-Шейлока — реальная возможность посчитаться за вековые обиды. Зная, что судебный процесс во вражеском стане не будет законодательно безупречным, а наоборот, сулит «иноверцу» массу подвохов и ловушек, Шейлок является на суд как на битву. Боевой дух подчеркивает стилизованная форма солдата Армии обороны Израиля, в которую ростовщик (или воин?) облачается перед генеральным сражением. Он сосредоточен, подтянут, серьезен. Таких крепких парней в военной форме Козаков не раз видел в Израиле: они — квинтэссенция нации.

Шейлок Шекспира, потеряв состояние и любимую дочь, посрамлен в своей неумемной жадности, раздавлен, но жив. Шейлок Козакова падает замертво, сраженный в битве за правду — так, как ее понимает этот немолодой, униженный, изрядно потрепанный жизнью, но несломленный человек. В образе Шейлока, представленном Козаковым, ощущается вневременная судьба народа, почти метафизическая, веками сформированная нечеловеческой болью, отчаяньем, обреченностью. Это ответ актера тем, кто упрекал его в предательстве.

С годами все чаще он повторял, как заклинание: «Я уехал не потому, что Израиль мне не нравился, — я себе в Израиле не нравился».

В последние месяцы жизни Михаил Козаков вернулся в Тель-Авив. Вопреки всеобщему мнению, он совсем не собирался умирать. Просто возвратился к семье после развода с последней женой. Но и в Израиле не все было гладко. Вскоре болезнь дала о себе знать с новой силой.

Умер Михаил Михайлович Козаков на Обетованной земле.

Наверно, в этом есть какой-то особый, высший, недоступный нашему разумению смысл.

**Из книги «Время-память, 1990-2010, Израиль. Заметки о людях, книгах, театре»
(С-Пб., Алетейя, 2018)**

Дар... Долг... Право... Восставшая душа Дина Рубина

Знаете, что было бы самым интересным, самым главным вообще в сути осознания литературного творчества? Разгадывание: ПОЧЕМУ читатели прилипают к какому-то писателю, а книги другого игнорируют. ПОЧЕМУ расхватывают книги писателя Р, и пишут автору письма, и жаждут читать продолжение, и не могут простить гибели героя, фантома, призрака, — и требуют изменить финал... Что там такое, в текстах этих книг, что за витамин там содержится? Почему, когда читаешь текст одного писателя, ты чувствуешь дыхание живой жизни, а другого читаешь — при всей «огромной эрудиции автора» и прочем баракле, ты будто сухими щепками завтракаешь? В чем обаяние стиля, что это такое? Почему так мощно воздействует на воображение читателя? Что такое авторская интонация, из чего она складывается? Из каких пауз, повторов, умолчаний... и т.д. Нащупать нерв стиля конкретного автора; нащупать болевой строй его мыслей, его волнений, obsessions... — ту горстку тем, которые кочуют из романа в роман, и не успокаиваются, и автор все перебирает и перебирает эти четки в разных образах, и все раскладывает этот пасьянс: Дар, Долг, Право, Наказание, Восставшая Душа.

Из письма Дины Рубиной (17.12.2014)

1

Творческая судьба писателя Дины Рубиной уникальна в современной отечественной литературе, как и ее биография в целом.

Она начала печататься в подростковом возрасте в одном из самых престижных и тиражных журналов Советского Союза. Но и сегодня сборники ее ранних рассказов и повестей раскупаются публикой почти с таким же энтузиазмом, как и книги последних лет.

Сама Рубина считает, что ей повезло дважды. Прежде всего, в том, что самое первое письмо шестнадцатилетней девочки в редакцию популярного журнала, написанное от руки, попало в руки замечательного человека и талантливого драматурга Виктора

Славкина. И он не выбросил письмо в корзину, хотя и имел полное право, поскольку автор должен был присылать текст, напечатанным на пишущей машинке. Больше того, Славкин сделал все, чтобы рассказ увидел свет.

А еще, как полагает писательница, ей помогло... ее имя. У многих, особенно, людей военного и послевоенного поколений, с юности на слуху было имя Дина Дурбин, замечательной американской актрисы и певицы, в которую в послевоенные годы были влюблены практически все мужчины, увидевшие ее на экране кинотеатров в трофейных фильмах. Такое созвучие имен порождало путаницу. И до сих пор на встречах с читателями к ней подходят очень пожилые мужчины и с придыханием произносят: я обожаю вас, дорогая... Дина Дурбин!

В 1990 году в возрасте 37 лет, уже будучи известным советским писателем Рубина вместе с семьей переезжает в Израиль, заведомо обрекая себя на полную неизвестность в среде тамошнего истеблишмента, и оказывается в совершенно непривычных условиях существования. Свою литературную карьеру она начала практически с нуля и уже вскоре достигла признания не только в России, но и во многих странах мира. Причем осталась, конечно, русским писателем, поскольку писала и пишет на русском языке. Относительно свежий пример: несколько лет назад Китай закупил права на издание сразу пяти ее книг. И таким образом, китайский стал 39-м по счету языком, на который переведены книги Рубиной.

Совокупный тираж ее книг вряд ли сегодня кому-нибудь удастся подсчитать с достаточной степенью точности. Вот уже почти полтора десятка лет она работает с издательством ЭКСМО. Есть неофициальная информация о том, что за первые десять этой работы общий тираж ее книг составил около восьми миллионов экземпляров. И это, стало быть, не считая последних ее романов — сверхпопулярных у читателей! А что было до ЭКСМО — никто пока не считал! Не говоря уже об иноязычных изданиях.

Она так много писала в своих повестях и романах вроде бы о себе, во всяком случае, от первого лица, что все факты ее биографии, реальной или вымышленной, кажется, окончательно перепутались в замороженных головах читателей.

Дина Рубина родилась, как прежде говорили, в интеллигентной семье: отец художник, мама — учитель истории. Оба уроженцы

Украины. В Ташкент мама попала после эвакуации. Поступила в университет на исторический факультет, где в то время читали лекции питерские и московские профессора, такие же эвакуированные. Отец, харьковчанин, вернулся с фронта лейтенантом и приехал в Ташкент к родителям. Поступил в художественное училище, где историю преподавала его ровесница, совсем еще юная девушка...

Так познакомились ее родители.

Дина Рубина часто пишет о бытовой неустроенности, которая сопутствовала ее героиням. В этом несомненно отражаются ее личные впечатления о юности и молодости: теснота, вечно без своего угла в маленьких квартирах.

«Всю жизнь я жила в стесненных жилищных обстоятельствах, — пишет она в повести “Камера наезжает”. — В детстве спала на раскладушке в мастерской отца, среди расставленных повсюду холстов. Один из кошмаров моего детства: по ночам на меня частенько падал, заказанный отцу очередным совхозом, портрет Карла Маркса, неосторожно задетый во сне моей рукой или ногой».

Рубина училась в специальной музыкальной школе при консерватории по классу фортепиано и занималась музыкой по несколько часов в день. Ее путь, казалось, был очерчен довольно прямо: после школы поступила в консерваторию, потом работала педагогом по музыке в Институте культуры. Но это только так казалось...

Она писала рассказы лет с девяти. Мама, учитель старших классов негодовала: вместе того, чтобы заниматься математикой и слушать на уроках педагога, она что-то непонятное тихонько строчит в тетрадках. Однажды один из рассказов девочка запечатала в конверт и отправила в Москву.

Ее первый рассказ был напечатан в популярнейшем журнале «Юность», когда Дине исполнилось 16 лет. Еще совсем недавно она величала себя «старым молодым писателем». Рассказ «Беспокойная натура» опубликовали в разделе «Зеленая портфель», где обычно печатались «легкие» тексты с юмористическим уклоном. Редактором отдела был в ту пору Виктор Славкин, которого многие помнят по популярной телепередаче «Старая квартира», а любители театра — еще и по культовому спектаклю семидесятых годов «Взрослая дочь молодого человека». Он-то и заметил юное дарование, и как тогда говорили, дал ему путевку в жизнь. Эти

небольшие симпатичные рассказы, опубликованные фантастическим тиражом три миллиона (!) экземпляров да еще с портретом автора сделали ташкентскую школьницу популярной на всю страну.

«Все моряки военно-морского флота листали журнал “Юность”, многие заключенные советских тюрем прямо из-за решетки делали мне предложение руки и сердца. Я как-то сразу стала лицом известным», — рассказывала Рубина в одном из интервью.

А когда ей неожиданно пришел гонорар в 98 рублей (вспомним: зарплата 120 рублей считалась нормально для врачей и учителей), тут уж и родители, прежде скептически относившиеся к увлечению дочери, поняли всю серьезность ее занятий. Рубина стала регулярно публиковаться в «Юности».

На протяжении нескольких лет продолжался «почтовый роман» школьницы из Ташкента с суперпопулярным московским журналом. Когда Дине Рубиной исполнилось 23 года, ее повесть «Когда же пойдет снег?» инсценировал и поставил столичный ТЮЗ. Ее пригласили на премьеру, и она впервые оказалась в Москве. Попала на генеральный прогон. Сидела в зале растерянная девочка и с удивлением слушала, как со сцены лились слова, написанные ей самой. Вот тогда-то она впервые побывала в редакции «Юности» на площади Маяковского и познакомилась с сотрудниками журнала.

В 24 года она стала, вероятно, самым молодым членом Союза писателей СССР, могущественной организации, перемоловшей в своих недрах немало человеческих жизней. Симпатичная провинциальная девочка, осваивавшая удобную семейную тему, как-то вдруг переросла в подающего надежды молодого писателя, которого, впрочем, мало интересовала комсомольская героика и строительство светлого завтра. Не приходится удивляться, что серьезные вещи Рубиной в «Юность» не брали, такие, например, как повести «На Верхней Масловке» или «Двойная фамилия». «Толстые» журналы заметили ее, лишь когда она уже уехала в Израиль.

Но это будет позже... А пока она пыталась заработать на кооперативную квартиру в Ташкенте с помощью переводов книг узбекских авторов и даже сочинить пьесу для театра музыкальной комедии. Да тут, кстати, на Узбекфильме решили снимать картину под названием «Наш внук работает в милиции» по ее повести «Завтра, как обычно». Картина не стала шедевром. Работа на

киностудии нашла своеобразное отражение все в той же повести «Камера наезжает», написанной уже в Израиле.

Но нет худа без добра. Во время съемок картины Дина Рубина познакомилась со своим будущим мужем художником Борисом Карафеловым...

«Мы были оба взрослыми людьми, оба — с развалинами прошлой, первой жизни за спиной. Борис примчался на три дня в Ташкент из Москвы (его не отпускали надолго из дома пионеров, где он преподавал в изостудии), и мы мимоходом расписались в районном отделении ЗАГСа, по пути сдав в ларьке пустые бутылки из-под кефира. Правда, для ускорения получения законного документа пришлось за 25 рублей купить справку, что я беременна (обычные ташкентские махинации), а также уплатить полтинник, чтобы нас расписали...»

Рубина переезжает в Москву, где ведет нормальную жизнь московского литератора конца «эпохи застоя»: радиоспектакли, журналы, вечера в ЦДЛ...

В 1990 году семья отправляется в Израиль.

Тогда еще «отъезжающих на ПМЖ» лишали советского гражданства, и Рубина с мужем и детьми покидали разваливающуюся державу «обобранные до исподнего советским государством, нищие буквально». Писательница вспоминает, что в ее сумке оказались трусы сына (от первого брака) и трусы мужа, — она завернула в них гжельский чайник, с которым не могла расстаться. И это все, что у них осталось: две пары мужских трусов и любимый чайник.

В Израиль они прилетели в ноябре, лил страшный дождь, вселенский, из тех, что невозможно увидеть в средней полосе. Они выскочили из такси и понеслись в гору по каменным ступеням. Так и влетели в иерусалимскую квартиру, где жил брат Бориса с семьей, уехавший за полгода до них.

«Все, что я ни делала в Израиле, — напишет Рубина, — немного служила, много писала, выступала, жила на “оккупированных территориях”, ездила под пулями, получала литературные премии, издавала книгу за книгой и в Иерусалиме, и в Москве... — все это описано, описано, описано...»

Впервые я увидел Дину Рубину «живьем» в 1992 году на писательском семинаре, который проходил в одном из образцовых кибуцев Израиля. Она приехала на машине вместе с мужем Борисом и несколькими друзьями, как мне показалось тогда «со свитой», и, судя по всему, не собиралась задерживаться надолго. Отбив час-другой на какой-то «проходной» лекции, вся компания, как водится, разом поднялась и отправилась на воздух, а вскоре удалилась совсем. Матовая смуглая кожа лица, черные вьющиеся волосы очень шли Дине, пожалуй, ее можно было бы назвать красавицей, если бы не огромные, печальные, очень усталые глаза и улыбка, грустная и как бы через силу...

Второй раз я повстречался с Диной в редакции еженедельника «Пятница», приложения к тель-авивской газете «Наша страна», возникшей еще в семидесятые годы, но теперь, в начале девяностых, стремительно теряющей популярность под напором многочисленных новоявленных конкурентов. Я отправился «на поклон к мэтру» в самые первые месяцы своей жизни в Израиле в безумной надежде пристроить свои опусы для публикации в местной периодике. Помню, шел очень долго мимо каких-то унылых полутрущобных строений неподалеку от старой «тахана мерказит» — центральной автобусной станции. Долго искал нужные двери. Дина сидела в каком-то странном отсеке среди перегородок, приняла меня вежливо, но слегка отстраненно, впрочем, рукописи приняла и обещала прочесть.

В романе «Вот идет Мессия!..» Дина так описывает место нашей первой встречи: «Редакция... обреталась в шестнадцати метровой комнате, снятой на одной из самых грязных улочек, в самом дешевом районе южного Тель-Авива. Это обшарпанное здание в стиле “баухауз”, выстроенное в конце тридцатых, предназначалось для сдачи в наем всевозможным конторам, бюро, мастерским и мелким предприятиям...»

Я позвонил ей примерно через неделю, и Дина сказала, что читателей их газеты вряд ли заинтересуют рассказы о московских сантехниках, бомжах и проститутках, оставшихся в прошлом, которое многие хотели бы забыть. Она посоветовала обратиться в самую бойкую и эпатажную газету той пары, к самому бойкому и эпатажному журналисту тогдашнего Израиля Виктору Т. В ту пору меня все посылали к Виктору Т., великолепному мастеру, впоследствии сделавшему прекрасную карьеру телеведущего в

США. Вскоре мы и в самом деле встретились, после чего я начал активно печататься в израильской прессе. Но это к слову... Знакомство с Диной состоялось, но в Израиле оно продолжалось только в форме редких встреч на тусовках местных писателей.

Вскоре неумолимая судьба позвала меня обратно в Москву, и я на несколько лет потерял Дину из виду. Правда, уже в середине девяностых книги Рубиной начали активно завоевывать российского читателя, еще не совсем пришедшего в себя после так называемой перестройки. Сама она появилась только в двухтысячном, но уже не столько в качестве писателя, сколько важного чиновника — главы отдела общественных связей солидного международного Агентства, впоследствии известного как Синдикат благодаря ее нашумевшему роману. Именно она пригласила меня на работу координатором по рекламе и информации, а также в качестве постоянного автора газеты «Вестник», которая вдруг под руководством Рубиной начала процветать, достигнув невероятного для ведомственного издания тиража 25 тысяч экземпляров.

В те годы я изучал библейскую историю и пытался сложить образы, спонтанно возникавшие в моей голове, в целостную картину, даже заметки начал писать и кое-что уже публиковал. Неожиданно явилась безумная идея собрать все это хозяйство в книжку, в которой речь могла бы идти о событиях, описанных в первых главах Библии. Дина Рубина была одной из первых, кто прочитал рукопись; она не только одобрила мое дерзкое начинание, но и помогла издать книгу, даже написала для последней страницы обложки текст, отражающий ее отношение к поднятой мною теме. Потом она участвовала в презентации книги в Литературном музее, открыв вечер своим выступлением.

Возможно, поддержка Дины Рубиной помогла мне найти свою скромную тропинку в нынешнем литературном процессе. И в дальнейшем она никогда не оставляла без своего внимания мою работу. Позже мы с известным израильским писателем Эфраимом Баухом попросили Дину Рубину написать вступительное слово к нашей совместной книге, критически оценивающей изыски некоторых псевдоисторических сочинителей. В результате она высказала несколько энергичных мыслей, еще усиливших полемическую направленность проекта.

Выездные семинары Агентства при Рубиной часто походили на многодневные праздничные действа с участием известных писателей, художников, ученых, политиков и не только российских, — многие специально приезжали из Израиля, Германии и других стран. По долгу службы она часто бывала и на семинарах, организованные ее иерусалимским начальством, и даже в этих случаях «ведомственные мероприятия» обретали особый колорит, не вызывая неприятного ощущения впустую потраченного времени.

Вот и тогда в последние весенние деньки первого года нынешнего столетия в Доме творчества кинематографистов «Репино» Дину ждали с нетерпением, предвкушая нескучные вечерние посиделки с участием популярного литературного мэтра.

Это был многодневный семинар координаторов по рекламе и журналистов «боевых листов» Агентства из разных городов России. Лекции, практические занятия, встречи с деятелями культуры и функционерами шли с раннего утра до позднего вечера непрерывным потоком.

Дина приехала «под занавес» обширной программы, «на десерт» и, чтобы скоротать время до вечера, отправилась погулять к Финскому заливу по местам, с которыми у нее были связаны романтические воспоминания молодости.

Погода стояла мрачная, время от времени припускал мелкий дождь. Сирень, в Москве уже отцветавшая, здесь только распускалась. Не мудрено было подхватить простуду...

После сегодняшней встречи с Рубиной назавтра оставалось только утреннее подведение итогов и еще долгожданная вечерняя (ночная!) автобусная экскурсия по Санкт-Петербургу с иллюминацией и разведенными мостами. А дальше — отъезд, в зависимости от железнодорожных или авиабилетов: на следующий день после экскурсии или даже через день.

В экскурсионном автобусе я сидел рядом с Диной. Несмотря на созерцание знаменитых питерских красот, мы все же успели о многом поговорить. Она рассказала потрясающую историю о том, как ночью по дороге в Калининград на границе с Белоруссией в ее купе вломились пограничники и, при проверке документов обнаружив, что у нее, иностранки, израильтянки, отсутствует транзитная белорусская виза, сняли с поезда на каком-то полустанке в сильнейший мороз. Растрепанную, наспех одетую ее препроводили в здание вокзала — убогое запущенное строение, как

потом оказалось, без каких-либо удобств, даже без туалета. Единственно возможным вариантом дальнейшего развития событий (по версии пограничников) представлялась поездка в столицу независимой Белоруссии за визой, но поскольку никаких «белорусских рубликов» у нее отродясь не водилось, эта тема как-то повисла в воздухе. Дина сидела в грязной станционной зале, на лавках похрапывали бомжи, а она в ужасе прижимала к груди сумку с документами и солидной суммой казенных денег. Из комнаты с табличкой «Таможня» время от времени выходили военные, и по всему было видно, что они просто не знали, как с ней быть дальше. Ситуация разрешилась неожиданно: втихую ей удалось выскочить на машине какого-то кавказца и добраться до Минска, откуда поезда до Москвы ходили регулярно. Эта история со многими душераздирающими подробностями потом вошла в роман «Синдикат», но мне повезло: я услышал об этом раньше читателей, да к тому же из первых уст.

В это время Дина уже полным ходом работала над новой книгой. Работала много и тяжело. И это несмотря на многочисленные заботы и обязанности чиновника, на бесконечные командировки, ежедневное присутствие в офисе. Дина рассказала, что свой рабочий день она начинает в пять часов утра... в независимости от того, в котором часу легла накануне, и пишет за столом по несколько часов до начала рабочего дня, несмотря на многочисленные неформальные вечерние встречи, которые часто длятся до глубокой ночи. А как же иначе: из Израиля постоянно приезжают друзья, родственники, коллеги — нескончаемый поток. По утрам мы встречали Дину в офисе — она всегда была в отличной форме, во всяком случае, так нам казалось...

Между тем автобус колесил по Питеру. Темнело. А мне становилось все хуже, все явственней бил озноб, нетрудно было сообразить, что температура зашкаливала. Когда совсем стемнело, народ пошел посмотреть на разведенный мост, а я остался в салоне, задремал и, признаться, не очень-то хорошо помню, как добрался до постели. Пришла медсестра, дала таблетки. Я заснул. Весь следующий день я лежал в постели в забытии, иногда просыпался, засыпал вновь и сквозь сон слышал за стеной какие-то истощные крики. Пару раз заходила медсестра, приносила чай, пичкала таблетками. Есть не хотелось. Я проспал еще одну ночь, и только на утро окончательно пришел в себя. В любом случае, пора было

уезжать. Мне предстояло навестить родственников в Питере, а к вечеру поспешать на московский поезд.

Я вышел к завтраку и сразу понял, что произошло нечто из ряда вон выходящее. В воздухе парило ощущение непоправимой беды. Медсестра сказала мне, что Дина уехала, хотела со мной проститься, но я был «вотключке». За завтраком уже почти никого не было.

«—Что случилось, — спросил я, — где все?»

«— А вы разве не знаете?»

Я ничего не знал.

Позавчера поздним вечером во время нашей экскурсии по Питеру на тель-авивской набережной у дискотеки «Дольфи» террорист-самоубийца подорвал себя в толпе молодежи. Погибло два десятка ребят. В их числе родные, близкие, друзья израильтян, участвовавших в нашем семинаре. Программа закончилась, и уже почти все разъехались.

Я поспешно собрал вещи и пошел на электричку до Питера.

Был теплый солнечный день. Сирень все-таки расцветала. В Питер весна явно пришла с опозданием.

В Агентстве — траур. Коридоры опустели. Многие наши «внепланово» отбыли в домой Израиль. Кто на похороны, а кто просто навестить и поддержать близких.

Дина Рубина писала роман «Синдикат». Книга это не о разборках в еврейской тусовке, как многие думают, а о глобальном терроризме, его сути, корнях, о том, в какой мере мы все причастны к распространению этой заразы, и почему террор стал в нашем мире едва ли не бытовым, рутинным явлением.

...В тот день я была на рынке одна и, общем оказалась там случайно: пробегала по делам, а я не могу не зайти на рынок, если подворачивается случай. Словом, купив маслин в открытом ряду, я как раз ступила с тротуара, чтобы повернуть на боковую улицу...

...и взорванная магнием вспышки гигантского фотоаппарата, осталась лежать щекой на асфальте... Тела у меня больше не было — только щека и огромный глаз, мимо которого в абсолютной тишине текла река крови куда-то вниз, унося в решетку сточной канавы окурки, бумажные пакеты, очки, младенческий сандалик, косточки от маслин...

Роман «Синдикат» (2004), как и большинство ее прежних книг, в значительной мере отражает некоторые события биографии писательницы, в данном случае, связанные с трехлетним пребыванием в Москве в качестве чиновника одной из международных организаций.

После долгого перерыва Рубина вновь пишет «московский» роман, вернее, преимущественно московский, поскольку за пестрыми ширмами новых столичных променадов, ресторанов и домов творчества то и дело выглядывает через прорехи неприятная безнадега российской глубинки. А еще дальше, за горизонтом, высятся тревожащие душу башни Иерусалима, Вечного города, в котором Дина Рубина живет уже довольно давно и, по собственному ее признанию, не может «отвести навеки замороженного взгляда». При этом реальность в книге хоть и смещена, размыта, затуманена, но все ж угадывается безошибочно и не оставляет никакой надежды на то, что дело происходит за гранью сознания: мол, стоит только встряхнуться, и все исчезнет, как сон. И не надейтесь!

Жанр книги автор определяет как «роман-комикс», и в этом видится некое литературное «ноу-хау», поскольку к комиксам с двойным дном мы пока не привыкли. Это только на первый взгляд роман Рубиной — всего лишь бесконечная череда «рисованных картинок», небольших сценок, порой лаконичных до незавершенности: зачем долго рассуждать, когда и так все ясно. Вообще в ее книгах сочетание образов и сцен важнее самой интриги, мозаичная статика часто имитирует действие, сюжет разворачивается не линейно, а многомерно, эпизодами, не имеющими прямой взаимозависимости. Если в традиционном романе это может раздражать, то в романе-комиксе выглядит совершенно естественно, даже необходимо. Такая фактура придает повествованию не только протяженность, но и объем.

При этом нетрудно выделить в тексте несколько повествовательных пластов, взаимообусловленных и взаимозависимых, однако подчеркнута изолированных: во-первых, воспоминания автора, так сказать, постфактум, уже во время работы над книгой; во-вторых, записи по ходу событий — файлы на рабочем столе компьютера и, наконец, «малые формы» — телефонные

звонки граждан с обращениями из базы данных Синдиката, своеобразные интермедии в цирковой феерии.

Конечно, «повествовательный пласт» — определение достаточно расплывчатое. В каждом уголке романа, у каждого его героя своя клоунская выморочная житуха: поза соответствует стойке «смирно», тело, однако же, расслабленно и как бы не заинтересованно в происходящем, физиономия разливается притворной скорбью, а глаз лукаво подмигнет... Если читателям не удастся ухватить все эти телодвижения и ужимки одновременно, они зря потратят время. Книгам Рубиной вообще свойствен своеобразный микст — сочетание несочетаемого... Вот и здесь унылый протокол заседания вдруг каким-то хитрым манером заплетается в лихую авантюрную повестушку. Не всегда удается сходу распознать многочисленные аллюзии и намеки, бойко торчащие в тексте: здесь вам и клоунада, и «ужастик», здесь и вариации на тему «Воланд в Москве», но только уже в XXI веке.

Персонажи и события в романе Рубиной были бы всего лишь занятным курьезом, частным случаем воображаемой реальности, присущей некоей, пусть и могущественной, но все-таки всего лишь отдельно взятой корпорации под названием Синдикат, если бы с поразительной достоверностью не свидетельствовали о необратимых переменных, происходящих в «глобал цивилизейшн» на рубеже столетий.

Ведь что такое комикс?

Фантастическая, гротескная и вместе с тем упрощенная модель реального мира, более наглядная, что ли, рассчитанная на восприятие так называемым массовым сознанием обывателя. Комикс отличается от действительной жизни тем, что поляризация сил происходит в нем ярче, понятнее, грубее. Именно эта жестко выраженная полярность предопределяет накал страстей, способный вызвать искру между двумя враждебными полюсами. Вот и в «Синдикате» такая искра вызвала возгорание уже в конце первой книги романа. Правда, пока это всего лишь забава рыжего мальчишки, «огненного ангела» московского подъезда или даже сон с вспыхнувшей на спине пелериной, когда неожиданно, странным образом, «за поворотом улицы Кинг Джордж сразу начинается Большая Никитская».

Но уже вторая книга романа завершается вселенской катастрофой 11 сентября. В центре же третьей — кошмар *обычного*

иерусалимского теракта, почти уже привычного, даже рутинного, а потому не менее страшного любой глобальной катастрофы; страшного еще и потому что случился он не где-то «за морем, за долом», а прямо здесь, рядом, и героиня, «взорванная магнием гигантского фотоаппарата, осталась лежать щекой на асфальте».

Кажется, никакой другой роман Рубиной не вызывал такой бури эмоций.

В некоторых СМИ сразу же появились отклики, в которых речь шла преимущественно о том, кого имела в виду автор под тем или иным именем; кто-то насмерть обиделся, кто-то, наоборот, злорадствовал, с наслаждением раскрывая в печати «подлинные имена», как во времена борьбы с космополитами. Разумеется, никому не запрещается высказывать о книгах любого писателя свое суждение... Да только стоило ли делать это с пафосом обиженного соседа, которому на кухне плюнули в суп?

Проблема серьезная...

«Появилось ощущение, — сказала тогда Дина Рубина в одном из своих интервью, — что вся земля, вся планета шевелится и горит под ногами человечества. Расчлененность нашего мира, нашего разъятого ужасом сознания, тотальный страх западной цивилизации перед мускулистым и целеустремленным Террором... Так что там есть еще о чем почитать, кроме как о межеврейских разборках...»

Мир, где властвует нечисть, — замечательная питательная среда для терроризма, — кричит роман Дины Рубиной. Нечисть внутри нас и рядом с нами. Даже Ноев Ковчег в таком мире становится всего лишь Кораблем Дураков, на котором Синдикат отправляет «потерянные колена израилевы» к Земле Обетованной. Синдикаты всех племен и народов по всему миру уже приспособились дышать в атмосфере, в которой террор становится сперва неизбежностью, а потом рутинной. В своих выступлениях и интервью писатель подчеркивал, что «действие происходит на фоне этого пира во время чумы».

В те годы я и сам имел некоторое отношение к упомянутой организации. Помню бесконечные телефонные звонки знакомых: «А кто там у вас такая-то? Она что, правда, “хай-тек” через “у” написала?»

Жизнь продолжалась...

Вот если бы только можно было «по рецепту» Рубиной — бросить в аквариум щепотку сухого корма для мальков... и выйти из романа...

Но мы-то знаем, что это невозможно...

Из книги **«Дина Рубина. Иерусалимский контекст» (М.: Новый хронограф, 2019)**

Правдивые истории из прошлого

РЕПЕТИЦИЯ

Вовчик Кузин проснулся часа в четыре утра от ощущения непомерной тяжести в мочевом пузыре. По свету в окне смекнул — на работу рано. Но тут же сообразил: «Надо бежать, а то взорвется». Он вскочил, влез в домашние тапочки и с усилием разомкнул глаза. Во рту пересохло. Глаза расклеивались с трудом.

Вовчик со вкусом помочился, потом прошлепал на кухню и прилип к чайному носику.

«Кайф», — сказал он вслух.

После этого он снова помочился, уже более сосредоточено, и улегся в постель досыпать.

Его угнетала мысль, что выспаться не удастся, — на работе надо быть в восемь часов. «В восемь — как штык, — сказал секретарь райкома комсомола во время инструктажа. — Автобусы ждать никого не будут».

«А может, ну его... подальше», — проскочила шальная мысль. Но Вовчик, конечно, знал, что от репетиции ему не отвертеться никак. Знал еще вчера вечером, когда Петрович по случаю своего возвращения из недельного турпохода поставил четыре бутылки «бормотухи», а закуску они не взяли, — Петрович сказал, что у него дома что-нибудь найдется. Но в холодильнике оказались только идиотские телячьи хвосты, которые Петрович поставил стоймя в кастрюлю, так что они противно торчали наружу. Прошел час, а они все еще варились, варились, и конца этому не было видно. Уже открыли третью бутылку, закусывали только остатками хлеба и засохшим плавленым сырком, а хвосты и не думали сдаваться. Не разгрызешь. Через два часа стало ясно, что они не сварятся никогда. Но не останавливаться же посреди дороги... Ну и вот — результат: как добрался домой, Вовчик не помнил; брюки и носки валялись на журнальном столике; в горле сушняк, хоть и пил две минуты назад. Потом он задремал.

Второй раз проснулся в полседьмого. Солнце светило прямо в окно. Вовчик понял, что больше не заснет. Пора собираться.

Два месяца назад Вовчику Кузину стукнуло тридцать. Как говорится, мужчина в самой силе. Только вот что-то сломалось в его

жизни в какой-то неуловимый момент, сломалось и не склеивалось больше. После пединститута работа в школе не задалась. Дело известное: не потянул учительствовать, прямая дорога в район инспектором. Вовчика туда не тянуло: начальство близко. Оставалось влиться в славную когорту внешкольных работников; с тех пор он занимал ответственную и непыльную должностишку организатора массовых мероприятий в районном доме творчества.

Жизнь его складывалась как бы наоборот. В детстве отец звал его Владимиром, школьные друзья — Володей, в институте — Вовой, на работе по-свойски — Вовчиком.

На рабочем месте культорганизатор Кузин торчал много, но всё как-то бестолково: выпивал с друзьями из отдела туризма, трепался с начальством, кадрился с пионервожатыми. Впрочем-то, как все. Еще в институте он начал писать книгу о Николае Добролюбове, русском критике и революционном демократе. Потом бросил. Стал писать стихи и даже как-то пару раз носил их в редакцию. Тоже, кстати сказать, если и не как все, то, как большинство. Подавляющее большинство.

Вовчик Кузин явился к автобусу вовремя. И это вышло удачно, так как на инструктаже секретарь райкома комсомола назначил его старшим машины. Кроме самого Кузина и трех десятков школьников, в автобус определили его давнюю подругу Милку Федулову. Это тоже сложилось удачно. Милка была председателем совета пионервожатых, бой-баба лет двадцати четырех. Она не зря слыла отличным детским организатором, а значит, Кузину выходило меньше драть глотку. Но главным достоинством Милки был все же огромный размер зад при весьма короткой плиссированной юбке, такой куцей, что если очень захотеть и поднатужиться, зад просматривался, как живой. К сожалению, грудь Милки заду не соответствовала — размера на два меньше, чем можно было бы предположить, и недостаточно выразительная. Это, конечно, нехорошо. Но куда хуже было то, что Вовчику очень хотелось опохмелиться, обреченно, без всякой надежды, так как окончание районного мероприятия брезжило где-то за пределами светового дня.

Кузин осмотрел диспозицию. Во главе транспортной колонны под непосредственным руководством секретаря райкома комсомола следовала «группа приветствия». Кандидатов в нее отбирали бескомпромиссно, без вариантов и нюансов. Дети должны

были отвечать нескольким непреложным требованиям: раз — из рабочей семьи, два — по национальности русские, три — светловолосые и светлоглазые на вид, четыре — участвовать в общественной работе, пять — заниматься в кружках художественной самодеятельности. Они целый месяц таскались на репетицию в райком. Их инструктировала сама секретарь райкома партии. Оно и понятно: у них особо ответственное задание — они будут вручать цветы руководителям партии и правительства. Следом везли детишек попроще: юных физкультурников, участников военно-спортивной игры «Зарница», юных пожарников и друзей милиции. Вовчик и Милка были ответственными за сектор расцвечивания или просто «красных и синих косынок».

Репетиция праздника шла своим ходом: стадион гудел неумолкаемым детским многоголосьем, взрывался яркими красками, проплывал огромными стягами, оглашался приветствиями и здравницами. Иногда откуда-то раздавался взволнованный голос режиссера: «Зарница пошла! Пошла Зарница! Почему стоите?! Безобразия! Вы срываете важное политическое мероприятие!» Потом снова, откуда ни возьмись, выплескивались браваурные такты. И все опять двигалось, гудело, переливалось, маршировало, приветствовало и орало. Чудовище, поглотившее многие тысячи жизней оболваненных малых существ.

Все бы ничего, но сектор Кузина находился на солнцепеке, и Вовчика мутило. К счастью, Милка вошла в положение, взяла мегафон и громко передавала поступающие «сверху» команды. Она делала это четко и жизнерадостно. Вовчик смотрел на ее зад и мечтал о пиве.

«Внимание,— вдруг торжественно провозгласил режиссер,— на трибуну пошли руководители... Внимание. Приготовились. Начали... Дружнее! Еще дружнее! — От усердия он орал что есть мочи, и голос его просто добивал бедного Вовчика.— Поприветствуем наших руководителей! Еще дружнее!»

«Поприветствуем наших руководителей! Дружнее!» — Милка продублировала команду в мегафон.

Дети срывали с головы и с шеи синие и красные косынки, вздымали их в воздух и кричали: «Слава! Слава! Партии слава!»

На пустой трибуне в истерике надрывался режиссер. Его не было слышно, и он жестами показывал, что какой-то сектор, вон там, вот

вы там отстаете, срываете, дружнее... Милка орала вслед: «Веселее, ребята! Выше косынки! Еще выше! Вот так, молодцы!»

Вовчик вдруг встал в полный рост, тошнота отступила. Он подошел к Милке, принял из ее рук мегафон и весело, совсем юношески закричал: «Молодцы! Громче! Веселее!»

И уже вместе со всеми: «Ура-а-а!»

КОЛЮНЯ И ДЕЛОВОЙ

Первыми к магазину являлись бабули-пенсионерки, — часам, примерно, к девяти. К одиннадцати собиралось уже человек двадцать. Они сидели на ступеньках и ящиках, грелись на солнышке, толковали о том, о сём. В два часа, когда откроют дверь магазина, они окажутся в первых рядах страждущих и продадут свои очереди за пять-десять рублей, в зависимости от дня недели и близости праздников.

Подходили и первые ханыги. Вышвырнутые из домов похмельем, они слонялись без дела, соображали, что предпринять, матерились и ругали Горбачева. Иногда разносился слух, что в универмаге выбросили дешевый одеколон. И тогда кучки рассасывались на время, но вскоре возникали вновь, осененные надеждой.

К часу дня публика строилась в боевые порядки и порождала совершенно несусветное многометровое существо, гибрид человека и дракона — Очередь. Оно будет жить своей автономной жизнью аж до закрытия, чтобы враз развалиться на части, рассредоточиться, угомониться на ночь, но назавтра вновь возникнуть — так всегда, день за днем, месяц за месяцем, год за годом.

Еще с «рабочих» времен у Колюни выработалась привычка вставать ровно в семь. И как бы он ни был пьян с вечера, сутра в нем внятно бубнил звоночек, и Колюня открывал глаза. Так было и сегодня.

Он заваривал в пивной кружке крепкий чай и, с удовольствием прихлебывая, допивал до гущи. Есть не хотелось. Потом Колюня собирал в сумку посуду, тщательно протирая бутылки влажной тряпкой и внимательно их пересчитывая. Ему нравилась эта процедура.

По старому, *доуказному* «о мерах по борьбе» правилу он являлся к магазину в одиннадцать и осматривал диспозицию. Все как обычно: бабули сидели рядком, невдалеке в деревцах кучковались ханыги.

— Ну что? — спросил Колюня.

— Да ничего, у «деловых» портвейн по червонцу, у «стекляшки» есть пиво в разлив,— ответил молодой низкорослый ханыга по кличке Воробей.— А у тебя?

— Глухо,— ответил Колюня,— посуды вот немного...

— А «капусты» нет? А то, может, пивка...— безнадежно промямлил Воробей.

— Откуда? Посуду бы сдать...

— Да где ее сейчас сдашь? Разве кооператорам по гривеннику...

— По гривеннику — мало.

Помолчали. Колюня вновь огляделся. К магазину чалил старый алкаш, помнящий не только водку за два восемьдесят семь, но и какую-то невероятно дешевую «рыковку», названную по имени крупного наркома-ленинца.

— Ну, что, дед, как она, молодая? — окликнул его Колюня.

— Нормально.

— Пивка уже принял?

— А как же.

— Тебе легче, — позавидовал Колюня.

Время шло медленно, но все-таки шло. Стратегия была такова: дожидаться двух часов, в магазине сдать посуду. Дальше, если повезет, взять в госсекторе красного. Если нет, то сложиться и купить портвейн у деловых. Потом видно будет.

К магазину подкатил «жигуленок», из машины вышел Деловой в куртке-варенке и внимательно оглядел Колюню.

— У тебя что? — спросил Деловой.

— Посуда, — ответил Колюня.

— Сколько?

— Десять по гривеннику и двадцать по двугривенному, всего на пятерку.

— Грузи в коробку, — сказал Деловой, швырнув на землю картонный ящик. Колюня аккуратно сложил приготовленные бутылки.

— Тащи в машину, — сказал Деловой. Колюня нежно поставил ящик в багажник, и Деловой захлопнул крышку.

— Получи бабки, — сказал Деловой.

В руках у Колюни оказалась заветная пятерка. Все произошедшее было так невероятно, что Колюня буквально онемел. Это было похоже на сказку со счастливым началом: где и когда это видано, чтобы деловые, утром, брали у ханыг посуду по госцене! Чудеса! Колюня решил твердо — пятерку не тратить до открытия, никакого пива, на мелочи не размениваться.

В половину второго около входа в магазин началась «битва народов». Иначе и быть не могло: прошел слух, что накануне завезли красное по пять рублей.

Без четверти два на пяточок подъехал наряд милиции и оттеснил толпу на несколько метров от дверей. Колюня заблаговременно

втиснулся в очередь между бабулями. Он знал: главное, пробиться к прилавку, пока весь товар не расхватают «местняк», «шакалы», чтобы тут же загнать за полторы-две цены в конце очереди.

И он пошёл вперед.

Но в торговом зале ему сразу же почудилось что-то непонятное, новое, а значит, ужасное и непоправимое. Окружающее пространство разваливалось от какого-то общего недоумения, мельтешения, ропота...

— Светик,— заверещал Колюня, тыча свою кровную пятерку через головы и спины бойцов,— мне красного.

— Посуду,— сказала продавщица, худая востроносая блондинка по прозвищу Погремушка.

— Что? — сказал Колюня.

— Оглох? Вот, читай,— для кого написали?

Колюня, с трудом припоминая знакомые буквы, прочитал свеженькое объявление: «Отпуск товаров только в обмен на посуду. Залоговая стоимость бутылки — 50 коп». Он ничего не понял.

— Светик,— мне красного, ну пожалуйста,— взмолился Колюня.

— Вали отсюда, козел. Следующий!

Колюня вышел на улицу. Очередь расчленилась, распалась, гудела. Бабули жаловались на жизнь, ханыги ругались. Надо было что-то решать. Колюня наконец понял, что его обманули. Его утренняя посуда стоила сейчас больше червонца, целое состояние. Бутылка из мусора, валяющегося на помойке, вдруг превратилась в нечто самоценное, в вещь, в товар, в дефицит.

— Ну как? — спросил ошеломленный Воробей.

— Не знаю,— сказал Колюня,— без посуды не дают.

— Вон у «шакалов» — по рублю.

Колюня прикинул: купив порожнюю бутылку за рубль, сдать-то ее Светке-Погремушке он сможет только за полтинник. Портвейн никоим образом не вытанцовывался.

Он прошел по окрестным дворам, но бутылок нигде не было. Даже там, где еще вчера можно было выудить приличную стеклотару — голяк! Пусто!

Колюня вернулся на пяточок. Стемнело. У магазина продолжалась прежняя толкотня, но очередь не выстраивалась. Ругали уже не только Горбачева, но и Ельцина, и вообще всех демократов. Один оратор в шляпе высказывался даже в том смысле, что если эти

засранцы не могут навести порядок, пусть возвращаются коммунисты.

И тут Колюня увидел того самого Делового, которому утром продал посуду. Он стоял в сторонке, курил, вероятно, дожидаясь своих.

— Слушай, командир, дай мне одну бутылку, ну пустую, из тех, ну помнишь...

— Два рубля,— сказал Деловой.

— Слушай, командир, я тебе за нее верну полтинник...

Деловой посмотрел на Колюню даже не как на сумасшедшего, а как на нечто неодушевленное — пень или кочергу.

— Два рубля,— сказал Деловой.

— Слушай, командир...

— Вали отсюда, ханыга, мля.

Деловой слегка ткнул Колюню в грудь и сразу отошел на несколько шагов. Ткнул так, беззлобно, между прочим. Колюня свалился на спину, как мешок с опилками. Он упал в грязь, сразу же сел, снял кепку и вытер лицо. Кругом толпились люди. Колюня заплакал.

НАШИХ КРАЯХ

В наших краях перестройка началась с «глумления и осквернения», — так потом писали в газетах. Перед зданием райкома партии на постаменте памятника видному соратнику Ленина злоумышленниками была отбита зубилом буква «К» — начальная буква фамилии — и вместо нее намалевана черной краской бесстыжая «Х», отчего фамилия сподвижника приобрела совершенно неприличный оттенок. Работники аппарата райкома партии, исполкома райсовета и комсомольские «шишки» две недели воротили нос, делая вид, что ничего не случилось. Потом непристойную букву стерли, и на ее месте некоторое время зияла пуста. Но, как водится, свято место пусто не бывает.

Дальше — хуже. Перед майскими праздниками стали распространяться слухи, что в районе Метрогородка объявились «нацисты». Они коротко стригут волосы, носят белые рубашки и узкие черные галстуки, ловят и мордуют панков и хиппи. Ни в большом ДК, ни в Новом танцзале, ни даже на дискотеке в «Фиесте» они не показываются, потому как плюют на прежних кумиров вроде Джона Леннона и «Модерн Тоокинг». Их бог, видите ли, — Адольф Гитлер.

День ото дня слухи становились все гуще. Поговаривали, что когда пожарные тушили здание детского сада в Богородском, пламя разгоралось тем сильнее, чем больше его поливали водой. (Что в принципе возможно, если обработать объект диверсии определенным составом, разумеется, с помощью западных спецслужб.)

Был, говорят, и такой действительно жуткий случай: подонки поставили на колени старика-ветерана и требовали, чтобы он кричал «Хайль Гитлер». Так они отмечали день рождения своего фюрера.

Это уже был предел. И это была угроза устоям.

Худрук и диск-жокей шоу-клуба «Фиеста» Боб Гольдман знал точно — вызовут «на ковер». Так и случилось. Да не куда-нибудь — прямо в райком партии.

Секретарь по идеологии уютно сидела в удобном кресле и подомашнему щурила подслеповатые глаза. Вдруг быстрым кошачьим движением она лихо надела шикарные очки с затемненными стеклами и изогнутыми блестящими дужками.

— Садитесь, Борис Ильич.

У дверей виновато моргали комсомольцы — референт международного отдела и завоорг.

— Ну, — сказала Сама Гольдману, будто ожидая от него чего-то. Но Боб молчал. Сама тоже помолчала с минуту, а потом, как норовистая скаковая кобылка, ринулась прямо в галоп.

— Меня вот что удивляет, Боря. Эти свои праздники отмечают. — Она выделила «эти» и «свои». — А мы свои пускаем на самотек. Вот ты лично, Борис Ильич, ты, наш советский человек, как лично ты со своим клубом отметил сто пятинадцатилетнюю годовщину со дня рождения Ленина? Молчишь?

Боб молчал.

— Апрель всегда был нашим любимым месяцем, — продолжала Сама, — весенним, цветущим, ленинским. А теперь это их месяц — черный, со свастикой. Невероятно! И все это у нас, в Куйбышевском районе столицы. — Боб вдруг вспомнил про постамент с отколотой буквой и усилием подавил улыбку.

Сама тоже вспомнила про постамент и деловито нахмурилась.

— Мы сдались сразу — без боя? Так?

Боб Гольдман молчал.

«Все это накипь, мамуля, мура, детки режутся. Им плевать на Гитлера, но им нужен Фюрер, это правда, потому что они против вас. Они ненавидят вашу трескотню, ваши рожи и ваши жопы, вросшие в кресла. Через месяц они забудут своего Гитлера и пойдут к русобородым парням, которые работают на реставрации Преображенского монастыря и рассуждают о самосознании русского народа и мировой закулисе. Вот это будет потеха».

Но Боря Гольдман молчал.

— Значит, так, Борис, — переменяла тон секретарь, — майские праздники за тобой. На отдел культуры надежда плохая. Мы сейчас делаем ставку на молодых и инициативных, таких, как ты. Мы вам доверили подрастающее поколение. Дерзайте! В общем, нужно сделать большую развлекательную программу, показательную, привлечь все молодежные группировки, мы пригласим товарищей из горкома... Мы вас поддержим во всем, Борис... Вы меня поняли, товарищи? — Это уже относилось к референту и заворгу. Те снова заморгали.

Боб прикинул: если отбросить совковую трескотню Самой, то выйдет классный сейшн для молодняка. Прямо с неба свалились

«бабки», штука или полторы — именно столько Гольдман думал выбить из райкома и отдела культуры на проведение нужного политико-воспитательного мероприятия.

— Заметано, — сказал Боб Гольдман.

В студийной подсобке шоу-клуба «Фиеста» благодаря энтузиазму оператора Ромы музыка не умолкала ни днем, ни ночью. Привычно преодолевая звуковой заслон, Гольдман достал спущенный из горкома список запрещенных к использованию на дискотеках рок-групп, неофициальный, но обязательный — на папиросной бумаге...

Еще недавно никакого списка не было — весь советский рок был запрещен на корню. На дискотеках крутили западную попсу, под шумок и в паузах иногда впрыскивая Майкла, Кинчева, Макара и даже Б. Г. С тусовок рокеров грузили в чумовозы, в ментовках привязывали к стульям и от души метелили сапогами. Гольдман являлся в «участок» с бумагой из райкома и забирал «проштрафившихся».

А теперь вот дожили — появился список.

Жирными кляксами в нем плясали «Майн Кампф» и «Адольф Гитлер», громкие «команды», работающие жесткий хард, — ребята, конечно, с придурью, — Боб их знал. «Скоро они угомонятся и будут шарить свою дешевку под совковыми лейблами», — подумал Боб. Мелькнула слабенькая попсовая команда «Звезда Давида». «Ну, уж эту-то скромную звездулю точно запретили ради профилактики борьбы чуждыми явлениями, — подумал Боб. — А это что такое — М. П.? Почему не знаю?»

— Рома, дитя природы, слушай сюда, — Боб шваркнул спичечным коробком в млеющего через наушники звукача.

— Хэлло, Боб!

— Салям аллейкум!

— Что-что?

— Сними уши и закрой рот. А то пропустишь самое главное! И выруби шарманку.

— Фу-у, — застонал Рома, снимая наушники, — класс попса, мля. Я тащусь.

— Кто такие — М. П.?

— Ну, ты борзеешь, старина! Не следишь за новейшими достижениями советского рока!

— Короче!

— «Менструальная повязка», ты понял — крутые ребята. Так они переименовали старую «Менуэт-Палаццо».

— Что ты мне морочишь голову, Рома! Велика новость мировой поп-музыки: сейчас все «менуэты» превратились в М. П.

— Ты о чем, Боб?

— Все, Рома, поговорили, балдей дальше.

После обеда позвонил-таки Торопов из отдела культуры.

— Ну что, Борис, был на ковре?

— Так точно, сподобился!

— И что? Сама — вклеила?

— Сначала вклеила. Потом сказала: какого хрена товарищ Торопов в Метрогородке «нацистов» развел, не проводит культурно-оздоровительных, массово-просветительских и олигофрено-педагогических мероприятий, распустил народ, понимаешь, пионэры, понимаешь, семьсот шестьдесят третьей школы Бышевского района столицы учительнице пения на заднице свастику намалевали.

— Между прочим, зря шутики шутишь!

— А я и не шучу!

— Значит, так. Вчера в Новый танцзал наведывались любера, слышал?

— Слышал краем уха...

— Краем уха? Ну, ты даешь! Они бьют всех подряд: панков, мажоров, метальё — всех. Бьют по-настоящему, без дураков, цепями и арматурой.

— Крутые хлопцы!

— Еще бы! Они ведь не наши — приезжают из Люберец метелить центровых...

— Зачем ты мне это все рассказываешь? Сигнализируй в инстанции, дверь-то, почитай, не забыл?

— Слушай, ты на что намекаешь, Гольдман? Мое дело тебя предупредить. Не сегодня-завтра заявятся к тебе, тогда пиши пропало.

— Ладно. Сигнал принял. Отбой.

Дверь с треском отскочила назад, с перепуга от девичьего визга...

— Все, Боб, мы готовы! Долго тебя ждать?

— Иду, Ирочка!

— Ну, сколько можно трепаться? Мы уже остыли!

— Я же сказал — иду...

— Боб, это Люся,— тархтела Ирочка.

— Очень приятно.

— А это — Борис Ильич.

— Здрасьте,— сказала Люся.

— Танец называется — «Рок во время дождя».

— Классное название,— сказал Боб.

Ирочка пришла в шоу-клуб из известной театральной студии при Дворце культуры «Люблино», где она имела успех, исполняя роль одной из четырех Джульетт в спектакле очень модного режиссера. Ирочка была платонической слабостью Бориса Гольдмана. Он заранее знал, что новый танец, который она репетировала с подругой, будет так себе, не очень чтобы очень, слишком манерный, довольно плоский, изрядно вычурный. Но... Ирочке он прощал все. Он выбил ей треть ставки, и она днями и ночами торчала в клубе, в глубине души считая, что принесла в жертву карьере великой актрисы.

— Ну, как? — спросила Ирочка.

— Нормально,— сказал Боб,— нормально. По нашей провинциальной губернии сойдет. Скажи Роме, чтобы еще раз переписал фонограмму.

Боб вернулся в подсобку.

— Борис Ильич, а я к вам.

— О-о! Какие люди, и без охраны! Впрочем, ты уже сам командуешь немалой охраной. Я правильно угадал, Юрчик?

— За кого ты меня держишь, дружище? За фраера? Знаешь ведь, что старший преподаватель школы МВД капитан Строев обычно командует только одним подразделением — нарядом по кухне.

— Слушай сюда, Строев! На прошлой тусовке, когда твои архаровцы, как неквалифицированные вышибалы, пропустили драку, я вынужден был прерваться, и с тех пор у меня где-то по шкафам гуляет полбанки. Что ты по этому поводу скажешь?

— Если ты ждешь от меня сакрального — «на службе не пью», то не дождешься...

Бывший одессит, а ныне капитан милиции Юра Строев осуществлял шефство школы МВД над шоу-клубом «Фиеста», что выражалось в регулярных дежурствах курсантов на дискотечных программах, именуемых в миру «тусовками». За это Гольдман

бесплатно проводил у «шефов» новогоднюю елку для детей сотрудников школы и вечер отдыха для учащихся, где сам лично из особой симпатии к Строеву исполнял роль Деда Мороза.

Разлили.

— Живы будем — не помрем, — начал Строев.

— Лехаим, — сказал Гольдман. Выпили. Закусили.

— За здоровье, — продолжил Строев.

— Не взяло, — сказал Гольдман, разливая по новой. — Жизнь человеку дается один раз, и прожить ее нужно там, чтобы умирая... ну и тэ дэ...

— За прекрасных дам и иже с ними! — подытожил Строев.

Выпили. Закусили.

— После состоявшегося обмена пошлыми тостами из нафталина обе договаривающиеся стороны наконец-то перешли к делу, — заявил Гольдман.

— Значит так, Боб. Сегодня к тебе на тусовку явятся любера.

— Откуда ты знаешь? Что, «Голос Америки» передал?

— Почти. Считай, что так.

— Похоже, что у вас с Тороповым один источник информации.

— Источник у всех один. Но сейчас это не важно. Наряд присылать не буду, приду сам и со мной еще пара ребят в «гражданке». Ты не психуй. На дискотеку это урло не сунется. Они подойдут после — бить панков и стилияг прямо в парке, тепленьких. Может, девок твоих пощупают. Сам не вяжись и своим скажи, чтоб не лезли. А я покручусь: посмотрю, что да как. До мордобоя не допущу — не бойся. О'кей?

— Ничего себе, хорошенький «о'кей»! А кто за все это будет отвечать? За драку? За разбитые стекла? За клумбу, будь она не ладна? Меня и так Сама сегодня за «нацев» отчитывала: почему, дескать, не привлекаю их к тимуровскому движению и к шефству над октябрятами. А ты мне этих люберов подсовываешь!

— Не психуй! Любера слишком обнаглели. Ломать их напрямую — не те времена, без толку, только обозлятся. Хотим попробовать взять их изнутри, скумекал?

— Ладно, валяйте. Только без пошлых эксцессов и резких движений. О'кей?

Когда после дискотеки вспотевшая толпа повалила к выходу, Боб отдернул плотные шторы и распахнул окна. Внизу в нарушение

всех правил смолили девицы во главе с Ирочкой. «Придется применить репрессивные меры», — только и успел подумать Боб.

Их было человек тридцать, молодцеватая шпана ... Впереди шел Вожак, крупный самец, «качок», за ним семенили самцы помельче, среди которых попадались и облезлые самки. Весь вид их говорил о том, что вот железной поступью идут настоящие советские ребята мордовать недобитков — панков с крашеными волосами, стилиг в белых носочках, наркоманов и гомиков. Они вышагивали напрямую, перекрывая выход плотным полукольцом. Неожиданно из-за спины Вожака выскочила прыщавая тень, в два прыжка подскочила к девчонкам и ни с того ни с сего рванула спереди Ирочкин блузон от шеи и аж до пояса. В ту же секунду прямо перед кодлой возник Юрчик. Он оттолкнул прыщавого и что-то сказал Вожаку. Вожак слегка попятился, а потом вдруг сделал резкий выпад вперед. Юрчик легко увернулся от удара, но в то же мгновение на него налетели двое молодчиков с нунчаками. Парни неплохо владели своими «игрушками»: не размениваясь на защиту, они сразу же начали молотить Юрчика. Гольдман зажмурил глаза. Ему показалось, что он слышал треск и чавканье расколовшегося на мелкие кусочки арбуза...

Когда Боб скатился по лестнице с третьего этажа, любера исчезли, как наваждение. На крыльце у входа толкались ребята, рыдали девочки, билась в истерика Ирочка...

В эпилоге (как говаривают серьезные писатели) я позволю себе все же кое-что добавить о некоторых участниках этой нелепой Истории, тлевшей десятилетия, и наконец так грубо рухнувшей в агонии весной 85-го.

Нацисты вскоре исчезли с московских окраин, как дым, не оставив и следа.

С люберами же в течение полутора-двух лет шла изнурительная многоходовая война с участием сил правопорядка и даже госбезопасности. В конце концов, они были вытеснены на задворки общественной жизни, но сохранили при этом боевые порядки и нет-нет да напоминают о себе внезапными вспышками криминальных хлопущек.

«Лучшие люди» из бывших «нацистов» и люберов вскоре перекинулись к нашим русобородым патриотам, что было обосновались на восстановлении останков Петровского городка, но силами нового Бышевского либерального руководства

расформированы и некоторое время числились неформалами. Они обрели солидность, не скандалят, из шашлычной «Черепок» перебрались в ресторан «Звездочка» и там влили свои нетихие голоса в общенародный стон о самосознании и заговоре.

Сама была вдруг мгновенно сметена ельцинским ветродуем, ей едва удалось устроиться в школу учительницей истории, откуда ее при первой же возможности спровадили на пенсию.

Бывший инспектор отдела культуры Торопов ныне работает в совместном советско-швейцарском предприятии, специализирующемся на торговле компьютерами, а также возглавляет районное отделение общества «Трезвость и демократия». По слухам — весьма процветает.

Ирочка вместе с танцевальной группой «Секс-матрешки» отплясывает в каком-то итальянском ресторане. Пишет, что уже приобрела телевизор «Сони» и теперь копит на видеомagnитофон.

Капитан милиции Юра Строев месяца через три вышел из больницы и вскоре был уволен из органов по инвалидности. Ребята пару раз встречали его возле шашлычной, известной в народе как «Черепок», но Строев стеклянными невидящими глазами на опухшем лице смотрел мимо.

А на трассе Хайфа—Тель-Авив, миновав автобусную станцию и выехав за городскую черту вы, может быть, повстречаете высокого смуглого заправщика в черном комбинезоне и оранжевой майке. Вы сразу узнаете бывшего диск-жокея с Преображеники, хотя год в стране не прошел даром; парень всюю шпрехает на иврите и ждет второго ребенка. Но не задавайте ему никаких вопросов о былом: многое, многое еще не забыто, еще бередит душу, еще является во сне. Да поможет ему Бог!

Да, чуть не забыл. На постаменте памятника соратнику вскоре после известных августовских событий 91-го появилась совершенно отчетливая, но безграмотная надпись: «сволачи мыля кпссники».

1992

КОНТРАБАНДИСТКА

Все было задумано просто — до гениальности.

Сначала она добыла бундесмарки по 11 рублей за единицу. Это было крайне выгодно, так как марочка потихонечку-полегонечку тихой сапой ковыляла к 14 рублям.

Теперь валюту следовало легализовать, то есть придать ей статус законно приобретенной. Ольга надумала вот что: пересечь границу в Бресте, доехать до Варшавы, тут же пересесть на обратный поезд, вписать сумму в таможенную декларацию и получить официальное разрешение на владение валютой, следовательно, и на последующий вывоз за рубеж.

Заручившись таможенной справкой с указанием заветной суммы и наименованием дензнаков, Ольга могла запросто предпринять новую вылазку из новоявленной цитадели демократии и гласности, — но теперь уже в Западный Берлин, вольный город, голубую мечту советских спекулянтов и контрабандистов — за товаром. Поэтому загранпаспорт она оформляла сразу на две поездки — в Варшаву и в Голубую мечту.

Марочки она аккуратно завернула в полиэтиленовый мешочек и тщательно укрыла в утробе громадной жареной курицы, которую водрузила прямо на столик, — дескать, вот-вот начнет поедать, ночью, мол, жор напал, бывает. Идею с курицей она придумала сама и старательно подготовилась в Москве: птица выдалась жирная, аппетитная, с розовой корочкой.

После проверки паспортов пограничной службой в купе наконец вошел хмурый коротко стриженный таможенник. Он оглядел перепуганных Ольгиных попутчиков, скользнул по невозмутимой Ольгиной курице и пробежал глазами по тощей Ольгиной сумке.

— Одна едешь?

— Одна.

— Ну-ну.

И вышел. Это «ну-ну» почему-то ей особенно не понравилось.

Но — все. Дело сделано. Путь на Варшаву свободен.

В сопредельной столице Ольга пробыла полчаса, не больше, водички только попила на вокзале. Отходил поезд на Брест. В последнюю минуту она вскочила в вагон, сунула проводнику-поляку двадцать марок и принялась с аппетитом поедать жареный

контейнер для валюты. Деньги, легализованные, уже покоились в косметичке.

С утра она снялась с Белорусского. Поздно ночью пересекла границу в Бресте. Рано утром была в Варшаве. И вот опять — скоро Брест... Лихо!

Заслышав глухую суету таможенного досмотра, Ольга высунулась в дверь и обомлела: в соседнее купе входил давешний стриженный таможенник. Только угрюмости его как не бывало, наоборот, он улыбался и пошловато шутил. Это ничего хорошего не предвещало.

— Какие люди — и без охраны! — забалагурил он, сходу вычислив Ольгу, и совершенно не обращая внимания на неуютно жавшуюся друг к другу пожилую пару, расположившуюся напротив. — Что так быстро?

— Времени нет — туда и обратно.

— Что так?

— Да на платформе встретились, мой-то бабки мне отдал, да я и назад. Ребенок дома с соседкой кукует. Тороплюсь.

— Да-а, история! А кто — «мой-то»? Муж, что ли?

— Любимый человек.

— Ну-у? И много бабок?

— Да не так чтобы очень...— Ольга протянула декларацию стриженному таможеннику.

— Много — не много, а все ж кое-что,— ответил тот.— А что еще возьмем: порнушку какую, баллончики?

— Окстись, да у меня и сумки-то дорожной нет!

— Ну, ладно-ладно! — примирительно произнес стриженный. Будто и вправду не сообразил, что при провозе валюты никакой дурак не станет рисковать с посторонним товаром.— Ладно,— подытожил таможенник,— ты ведь в Бресте на пересадку? Зайдешь в контору, я тебе печать на декларацию шлепну и справку выпишу. Договорились?

— Конечно.

В самом начале 89-го года власти предприняли отчаянную попытку прорыва в демократию: МВД Союза ввело «облегченные правила» выезда за рубеж.

Вот тогда-то, чтобы наварить дополнительную сумму к обменной квоте, первые «ездюки» стали прикупать «сувениры родственникам» — матрешки-поварешки, самовары-балалайки и

прочую посконную мишуру, которая немедленно сбывалась на блошиной толкучке в Тиргартене или на Польском рынке, а позже — прямо на Александерплатц и даже у Бранденбургских ворот. Вдруг объявилась мода на атрибуты военной формы — поехали ремни и фуражки, кокарды, значки. Вскоре потребовались медали и ордена, спрос, как ему и положено, определил предложение. Ни с того, ни с сего Запад стал покупать живопись совдеповского реализма. В подвалах учреждений началась инвентаризация снятых было со стен в связи с перестройкой «ленинов», в кепке и без оной, на броневике с указующим перстом и даже на крейсере «Аврора». Цены назначались прямо пропорционально размерам. Если на полотне густо кучковались матросы, а вождь в сопровождении каких-то кровожадных девиц в красных косынках указывал им дорогу в грядущее, то перекупщики давали по 900 рублей за квадратный метр. Конечно, все это барахло никакого отношения к искусству не имело, вывозилось в рулонах и сбывалось за хорошие бабки одуревшим от перестройки «фирмачам».

Осенью матрешечно-фуражечный рынок насытился, подспела очередь монетам, старинным фолиантам, дорогому антиквариату. Обратной дорогой, помимо видиков и дискет, потянулись «порнуха» и «газ», курсировало нарезное оружие и «наркота». Очень ценились пистолеты, стрелявшие балончиками с нервнопаралитическим газом. Говорили, если хорошо попасть, то человек вырубался на два-три часа, иногда лежал неподвижно, говорить не мог, хоть и все соображал. Потом их производство запретили.

Доходы «деловых людей» стали пухнуть, как на дрожжах. Быстро сбывались и распадались группы, появились монополисты, «мафия», требующие «отчета» и «отстёга» с рядовых «ездочков». Мелкая шушера отпала, остались «профи», сделавшие контрабанду своей специальностью.

Ольга упорно избегала «мафиозной» групповщины, работала одна, «деловые» точили на нее зуб, запахло жареным, пора было сматывать удочки. Она твердо решила, что это будет последняя «ездка».

Из плоских коробочек на десяток дискет Ольга извлекла содержимое и упрятала пистолеты, потом заново сложила упаковки и заклеила лентой. Комар нос не подточит — фирма! В последнюю минуту ей вдруг показалось, что коробочки получились слишком увесистыми. Пришлось облеγχать. Два пистолета она спрятала на

себе — в бюстгальтер, благо формы, далеко уже не девичьи, в этом смысле позволяли многое, и в совсем уж интимное место, там тоже все было нормально.

В приснопамятные времена застоя Ольга Малкина окончила знаменитую московскую «Плешку», Институт народного хозяйства имени Плеханова. Жила с родителями в каком-то подмосковном Курятине, благо, что с пригородной пропиской в столице на работу брали всегда. Но — по четыре часа в день скакать по электричкам, плюс родительские внушения об устройстве личной жизни, плюс курятинские скука и тоска, минус всякое продуктивное довольствие в магазинах, не говоря уже о полузабытых, но желанных «курях».

Однажды Ольга плюнула на подмосковную идиллию, на НИИ, на заветный «стольник в зубы» и рванула техником-смотрителем в один из центральных московских ЖЕКов с убогой зарплатой, но своей комнатенкой за выездом.

Много мороки приняла она и от нашего брата-мужика, докучливого и в быту нескромного, и от начальства, тупого и загребущего, попить стала в котельных и дворничих, но не сломалась, как многие,— жизненная сила, что ли, какая в ней обитала...

Откуда ни возьмись, явилась перестройка — и вот пошли делишки, а потом и дела, обозначилась кое-какая валютка, центики-пфенюшки. И наконец, как мечта и загадка, всплыл Вольный город на Западе — с умопомрачительными витринами супермаркетов, видео и компьютерными салонами, уютными барами, «русскими» магазинами с темнокожими продавцами, поверженной Стеной с потайными, опасными лазами. А еще были всегдашние преддорожные хлопоты, щемящее предчувствие краха при таможенной проверке и острый взрыв облегчения при виде первых польских домиков с той стороны. А потом — обратная дорога, и снова ноющее ожидание, и снова всплеск растревоженных иллюзий...

Проводник уже собрал паспорта и распорядился приготовить таможенные декларации. И, как всегда в эти минуты, Ольга ждала особенно напряженно, чтобы мигом расслабиться, стать приветливой простушкой, своей в доску бабой, только лишь в двери покажется таможенник.

— Здравствуйте...

Ольга едва сдержалась, чтобы не вскрикнуть: в купе показался стриженный. Было раннее утро, заканчивалась ночная смена, и на щеках его проступала едва приметная щетина. Сегодня он не был ни угрюмым стражем законности, ни веселым балагуром, как давеча, он был просто озабоченно-деловым.

— А, старая знакомая. Ну-ну. (Опять это «ну-ну».) Что везешь, кроме дискет?

— Видюшник.

— Один?

— Конечно.

— Тебе какая сумма полагалась? Ольга назвала.

— Откуда же столько товара?

— Давайте считать! — ответила Ольга. Таможенник вдруг с интересом взглянул на Ольгу. Ей почудилось, будто из нее нагло торчат пистолеты.

— Открой сумку! — приказал таможенник, взглядом указывая на дорожный баул, стоявший рядом с Ольгой.

Она поднялась с места отнюдь не грациозно. Снизу и сверху давило оружие.

— Николай! — раздался голос из коридора.— Николай, иди сюда!

— Сейчас.— Таможенник нехотя заглянул в сумку, как бы размышляя о чем-то.— Сейчас,— снова ответил он голосу из коридора.

Стриженный вышел. Ольга уселась на полку, откинулась назад и закрыла глаза. Она знала, что еще ничто не кончилось.

В соседнем купе вдруг возникла какая-то непонятная суета: кого-то пригласили на личный досмотр в отсек проводников, кого-то вывели из вагона, слышались мольба, ругань, увещевания...

«Прокололись бедолаги»,— подумала Ольга.

А о ней, похоже, забыли совсем. О такой удаче бедняжка не мечтала и в самых сахарных своих снах... На московской платформе Бреста, когда проверка давно была завершена, Ольга увидела стриженного таможенника Николая. Он был, казалось, не в себе.

— Смотри, кукла, больше не проскочишь! — только и проскрежетал он зубами.

— Ты о чем, начальник?

Теперь Ольгу беспокоило только одно: если «стриженный» связан с «мафией», то сегодня же в Москву пойдет сигнал о

подозрительной бабе, колющей туда и обратно через брестский кордон.

«Все,— Ольга приняла это решение не сейчас,— надо завязывать. Резко. Сдавать товар и сматываться совсем. С концами».

Конечно, для людей сведущих Ольгина фамилия, Малкина, со всей определенностью указывала на принадлежность к международному еврейству со всеми вытекающими последствиями. Но на самом деле это не так. Никаких евреев в своей родне Ольга не помнила и не знала, откуда взялась подозрительная фамилия — понятия не имела. Может, была раньше в родне какая-нибудь *Молокина*, кто знает.

Поэтому в Москве Ольга сразу связалась через знакомых с небезызвестным Велвелом, в застойном прошлом — киношным каскадером-лошадником, а ныне — торговцем антиквариатом и поддельными метриками.

— Я тебя умоляю, Лялечка,— сказал Велвел,— сделаем все по высшему классу. Если бы я имел в виду втюхать тебе тупту, то просто продал бы за штуку бланк дубликата. Ты могла бы написать на нем, напротив своей мамы, что ты сама захочешь: хоть «еврейка», хоть «турчанка», хоть «столбовая дворянка». Но я же интеллигентный человек! Видишь, сзади стоит год, когда его напечатали в типографии: 1987. Эти тамошные спецы из израильского консульства очень умные люди. Они быстро расчухали, что за штуку евреем может стать хоть писатель Василий Белов со всем обществом «Память» в придачу. И они уже стали проверять...

Так вот, эти ушлые деятели теперь требуют, чтобы бланк метрики вышел из типографии еще до того, как ты родилась. Хорошенькое дело! Ты спросишь: Велвел, а что для этого надо? Для этого надо рядом с твоей мамой — как ее, кстати, звали — Варвара Трухина?! Очень подходящее имя! — изъять несоответствующее ситуации «русская» и вписать романтическое и загадочное «еврейка».

Конечно, эти злобные антисемиты из консульства, эти непримиримые борцы против еврейства диаспоры скажут: Лялечка, как же так? Что это за еврейка, Варвара Трухина? Ты что, пришла сюда шутки шутить? А посему придется провести еще одно хирургическое вмешательство в твою маму, дай ей Бог здоровья:

вытравить подчистую «Варва» и на освободившееся место засунуть «Са».

А? Как тебе нравится? Сара Трушкина! Почти в десятку! Но... опять только «почти». Придется еще поднапрячься! Чуть-чуть! О, Сара Трухман! То, что доктор прописал!

Это, конечно, тоже будет стоить, но уже дороже. Тебе, Лялечка, по очень большому благу — три штуки с полной гарантией успешной абсорбции на земле предков.

— Сколько? Ты что — серьезно?

— Но, Лялечка, это же вместе с гарантией: если факир окажется пьяным и фокус не выгорит — никаких с тебя бабок. Ты поняла?

— Давай за две!

— Лялечка, я вижу, ты хочешь и на елку влезть, и попку не ободрать... Слушай, кстати, а тебе не нужна панагия, петровские дела, полный «свежак», муха не садилась, и совершенно бесплатно — всего двадцать штук...

Договорились на двух с половиной. О метрике, конечно, — не о панагии...

Приехав в Москву, Ольга засуетилась. Она допустила сразу три непоправимые ошибки: во-первых, решила сдать товар, минуя обычные каналы, во-вторых, слишком быстро и, в-третьих, слишком дорого.

Со Славиком они встретились у Сретенских ворот около магазина «Галантерея». Второпях Ольга пропустила важную деталь: за углом, у почты, стояла белая «Волга»...

Вдвоем они перешли Сретенку и спустились вниз к Трубной по Рождественскому бульвару. Этот молодой светловолосый атлет был предупредителен, говорил гладко, как воспитанные мальчишки, без блатной фени. Славик очень понравился Ольге, и, хоть была она старше его лет на десять, да и не до лирики сейчас, ей вдруг подумалось: «Чем черт не шутит!» Ольга была невелика ростом, в последние годы изрядно располнела, лицо имела широкое, с родинкой, но глаза ее как бы светились изнутри, и чувствовалась в них глухая непреклонная решимость, которая, видно, влекла к ней определенный сорт мужчин. Заходить в подворотню Славик категорически отказался, резонно опасаясь засады. Ольге пришлось оставить его на бульваре, а самой идти домой за товаром. Все это никуда не годилось, но выхода не было. Вскоре она воротилась, неся в руках темный полиэтиленовый пакет.

Славик терпеливо коротал время на лавочке, но Ольга сразу почувствовала в нем что-то новое, какое-то волнение, резкость какую-то, настороженность. Народу вокруг не было совсем, и Славик внимательно рассматривал товар, как-то отстраненно расспрашивал и как будто чего-то ждал. В какой-то момент пакет со всем содержимым вдруг оказался у него. Тут же бесшумно, как наваждение, за оградой появилась белая «Волга», трое дюжих громил разом выскочили из машины, перемахнули низкий барьер и бросились к лавке. Двое резко подняли Славика и заломили ему руки за спину, третий схватил пакет. Славик и не думал сопротивляться. Все было решено мгновенно, организовано и слажено, но вместе с тем плавно и артистично.

Обычная инсценировка, разыгранная опытными кидалами.

Ольга стояла как вкопанная и заворуженно смотрела незнакомый гангстерский фильм с погонями и мордобоем. Неожиданно кровь ударила в голову, и она чуть не потеряла сознание.

— Это важный преступник, — сказал тот, что с пакетом, — мы его давно ищем, будет суд. Вам все понятно? — Он даже не прятал усмешки. Этот был невысок, но крепок, с уже поредевшей шевелюрой. — Вам все понятно?

— Понятно.

Ольга сунула руку под кофту, вытащила из-за пояса пистолет и несколько раз подряд почти в упор, целясь прямо в лицо кидалам, выстрелила капсулами нервнопаралитического газа. Все четверо рухнули как подкошенные, не успев даже вскрикнуть. Откуда им было знать, на что способна эта полная тетка не первой молодости? Ольга подхватила пакет, спрятала «пушку», тяжело перелезла через ограду и исчезла в подворотне. Она все время пыталась вспомнить, не видел ли ее кто-нибудь, — и не могла.

Дома Ольга собрала вещи и, как только стемнело, на такси отвезла их подруге. Потом вернулась назад, позвонила знакомому перекупщику и за полцены сдала товар оптом.

«Ловить» в Москве было больше нечего, негде, да и опасно... За пять штук крупный ОВИРОВский деятель, заранее прикормленный Ольгой, в течение суток организовал паспорт с выездной визой на постоянное местожительство в Израиль. А еще через день она просунула в окошечко на Большой Ордынке вместе с паспортом

Велвелову хирургическую лажу, получила выездную визу и заказала билет на ближайший рейс...

Сегодня у нас в Хайфе успешно работает русский магазин «Ляля», куда я частенько захоживаю выпить чудесного светлого пива за два шекеля. К вечеру в пятницу после закрытия магазина я иногда помогаю хозяйке управиться побыстрее: вывезу на тележке порожнюю тару, протру влажной тряпкой пол, постелю газетку на низкий мясной холодильник и открою бутылку популярной местной водки «Кеглевич». Ляля тем временем выставит вкуснейшую чищеную кильку и пару малосольных огурцов «русского» засола. И мы говорим, говорим, вспоминаем Трубную, Сретенку, Колокольников переулок, винный магазин «морковка» на углу, пиццерию на Рождественском, гриль-бар «Аннушка» на Цветном, обязательную отвальную перед «ездкой», таможенный кордон в Бресте, заветную дырку в Стене, куда мы ошалело, минуя пограничный запрет, лезли, лезли, как безумные, в свободный мир нашей неправдоподобной, ублюдоочной мечты...

1993.

НЕ ВИДЕТЬ ПАРИЖ И УМЕРЕТЬ

Петр Никитович Барабанов по прозвищу Шеф начал войну рядовым, а кончил майором, да не каким-нибудь там, а майором СМЕРШа.

Весна 45-го застала его под Белградом... Тито был пока что большим другом, героем-партизаном, выдающимся практиком — и, очутившись вскоре в Москве, недалековидный и малограмотный Петр Никитович резво накатав кандидатскую по теме «Иосип Броз Тито и международное национально-освободительное движение». Все эти факты в передаче знающих людей вполне достоверны, как достоверно, по-видимому, и то, что вскоре молодой историк получал теплую и вполне пристойную должность в Университете марксизма-ленинизма, а еще через какое-то время, совсем короткое, мы видим его кряжистую фигуру в российском дипломатическом представительстве в Бельгии на должности военного атташе. Там-то он и подхватил в свой обиход несколько десятков французских слов, спасших его в дальнейшем от полного забвения.

Прошла еще пара лет... Из героического партизана-вождя Тито обернулся коварным бандитом и подлым империалистическим наймитом. Петр Никитович затрепетал в ожидании самого худшего: оно и понятно — в своем оптимистическом опусе он всем своим могучим интеллектом поднимал этого самого Иосипа на щит истории как верного интернационалиста-ленинца и боевого соратника-сталинца. И худшее (как свидетельствуют знающие люди) не замедлило явиться... Вызвал его сам Лаврентий Павлович, саданул кулаком по столу и швырнул в рожу «гнусную провокационную писульку». Петр Никитович наложил в штаны по полной: он ждал если не расстрела, то, во всяком случае, долгой отсидки. Но ни того, ни другого не последовало. Его всего-навсего лишили удобного кандидатства и теплого места при марксизме. Он затаился надолго: надо было переждать опалу, и напоминать о себе до поры до времени не следовало ни при каких обстоятельствах.

Чтобы хоть как-то кормиться и окончательно не одичать, ему удалось пристроиться в одну из московских школ учителем труда. Так Петр Никитович стал «наробразовцем»...

Времена между тем заметно теплели. Где-то кто-то вспомнил и про старого смершевского волка: учитывая прошлые заслуги перед

марксизмом, его определили директором Образцовой московской гимназии №2 закрытого типа с преподаванием ряда предметов на французском языке. Это серьезно: предполагалось, что гимназия будет с детства готовить умелых и стойких гуманитариев для работы за границей. Таким образом, связь с органами просматривалась отчетливо — и это был хороший знак.

Петр Никитович преподавал Историю СССР в старших классах, и как всякий человек, в молодости ушибленный обстоятельствами, воли языку не давал, о Иосипе Броз Тито помалкивал и о международном рабочем движении сверх школьной программы не распространялся. И правильно делал... Генсеки приходят и уходят, а органы, как прежде, стоят столбом, как после хорошей дозы стимуляторов.

В период нелегких размышлений о жизненных коллизиях Петр Никитович снимал с бугристого носа очки и, тяжко вздыхая, протирал физиономию огромной рабоче-крестьянской лапищей, точно исполинской салфеткой, устало и слепо глядел перед собой на ряды неразумных двоечников в серой робе, на свежевыкрашенную стену, на портрет теоретика и вождя мирового пролетариата Карла Маркса. Потом он опять надевал очки, хитро прищурился, слегка кренился влево и, запустив лапищу в просвет между брючиной и носком, выразительно скреб ногу с притворным выражением понимания и покорности судьбе. Но через толстые стекла дальнорезких окуляров явно просматривался упрямый вызов: мол, нас голыми руками не возьмешь.

Однажды, классе этак в седьмом, я попал к нему на допрос — после драки на школьном дворе, где дежурные повязали меня, что называется, с поличным. Я отнекивался, как мог, поскольку очень испугался: в комнате, где на меня в упор тарачился милицейский следователь, как-то так ласточкой витало слово «колония». Милтон пугал меня тупо — он напирал, а я отпирался. Когда Петр Никитович взял дело в свои лапищи, я раскололся, как гнилой орех. Шеф допрашивал грамотно, манипулируя словами и жестами, то и дело тыча мне в нос то кнутъём, то пряником. Что мог противопоставить крутой смершевской закваске четырнадцатилетний дилетант, в течение одной недели пять раз посмотревший «Великолепную семерку» и возомнивший себя ковбоем Крисом в облике неподражаемого Юла Бриннера!

Прямое отношение к нашей истории имеет еще одна, пожалуй, не менее колоритная фигура — Жан Арменович Бархударян, репатриант из Франции, по недоразумению осевший в Москве и неожиданно объявившийся в нашем классе на уроке французского языка.

До той поры, начиная почти с младенчества, наша учительница Мария Ильинична, в школе весьма кстати поименованная Дубинишной, политически и профессионально грамотный педагог, вдалбливала в нас зачатки иностранной словесности разве что не силой. Каждый раз при ее появлении в классе мы дружно вставали, противно скрипя и хлопая крышками парт.

Она говорила: «Бонжур, мезанфан!» («Здравствуйте, дети»!)

Мы отвечали: «Анфан, силенс! ЛяЛесон де франсе команс...» («Дети, тихо. Урок французского начинается»!)

Потом, так же противно скрипя и хлопая, усаживались на место.

Вариант ритуала древнего фаллического культа со вставанием...

Этот самый «силенс» был ее жизненным кредо: перед Шефом она выделяла свой «силенс-команс», перед ней — мы. Вот и вся забава — простая и удобная, как индийский презерватив «кохинор», который можно было поменять у старшеклассников в туалете на почтовые марки французских колоний.

С появлением Жана Арменовича все изменилось... Во-первых, мы вдруг с удивлением услышали настоящий французский язык, тот самый французский, на котором, как выяснилось, говорят все французы, — разительно отличающийся от калеки на инвалидной коляске, которую, напрягаясь до икоты, толкала впереди себя Дубинишна. Во-вторых, наш новый наставник не обладал никакой специальной подготовкой — ни политической, ни методической, а значит, не орал, не занудствовал, не писал замечаний в дневник, не вызывал родителей, не выгонял из класса, не отправлял на ковер к Шефу.

По-русски он не знал ни слова, а значит, мы не только учились французскому, но и общались по-французски. Мы понимали его прекрасно по той простой и естественной причине, что большинство историй были нам интересны до жути, до оторопи. Он говорил о Париже не как о месте заветной командировки по линии горкома профсоюза работников просвещения, а как о своем родном городе, единственном и неповторимом, где каждая улица, дом, столик в кафе жили своими отдельными, суверенными жизнями, и он тоже

жил среди них — домов, улиц, кафе — высокий, бородатый, нескладный, с непрременной трубкой и желтыми от табака усами.

Это были рассказы о совершенно иной жизни — не те, что повествовал Шеф на уроках истории, прозрачно намекая на всеобщее загнивание буржуазной демократии, и не те, что, пуская слюни, тяжело выдыхали вернувшиеся из турпоездок училки, и не те, что мы проходили с Дубинишной по адаптированной книжонке «Прогулки по Парижу», тупо вызубренной от сих до сих так, что, казалось, десантируй нас с самолета где-нибудь на Пляс Этуаль, мы запросто выберемся оттуда и на Монмартр, и к Нотр-Дам, и в Сен-Жермен-де-Пре — с завязанными глазами. Жан Арменович говорил о другом: как приятно утром в одиночестве гулять вдоль Сены, а потом смотреть картины в Лувре, а потом пить пиво с устрицами у Максима на Елисейских полях! («Вы любите устрицы? — спрашивал нас Жан Арменович.— Как, вы не ели устриц?! Боже мой, что же может быть вкуснее!»).

А еще он рассказывал (о ужас!) про Пляс Пигаль, про знаменитое кабаре Мулен Руж, где некогда сиживал гениальный урод Тулуз-Лотрек вместе со своими друзьями, где и поныне все еще водятся женщины легкого поведения, ну, эти самые, одним словом, проститутки... Такая информация, конечно, не лезла ни в какие политико-воспитательные ворота!

Была в его педагогическом арсенале еще одна занятная штукавина, которую мы, конечно, не смогли бы тогда внятно объяснить ни себе, ни людям, но наживку заглотнули сразу и всенепременно... Никогда он не смотрел на нас, средневозрастной ученический коллектив как на некое единое бесполое существо о тридцати головах — мол, «анфан, силенс!» или там «бобик, к ноге!». Наоборот, с девчонками он бывал по-мужски приветлив, отпускал комплименты и даже слегка флиртовал, и они, надо сказать, отвечали ему в соответствии с правилами нашей игры; с мальчишками — всегда, мужественен и строг... Одним словом, он предстал перед нами не педагогическим реликтом, а просто мужиком, одинаковым и в нашей классной комнате, и в своем парижском кабаке.

А иногда Жан Арменович и вовсе являлся на урок с гитарой и, отложив сторону непрременную трубку, исполнял песни из репертуара знаменитых французских шансонье — Жака Брелля, Шарля Азнавура и Сальвадоре Адамо!

Что и говорить, все эти его «выкрутасы и закидоны» не могли остаться незамеченными в королевстве кривых зеркал гнилой смершевской оттепели, плавно переходящей в крещенские морозы брежневской бессознанки... Они и не остались... Случился анекдот: Жана Арменовича вызвали на педсовет для проработки!

Беда его, педсовета, заключалась в полном генетическом непонимании предмета своего обсуждения и осуждения; «подследственный Бархударян» был абсолютно естествен как в быту, так и на работе,— таким создала его природа и воспитала жизнь на загнивающем Западе: он не имел представления о возможности какого-то иного существования и в кошмарном сне не лицезрел себя поучающим Дубинишну, как ей жить дальше и чему ей учить молодое поколение строителей светлого завтра.

Педсовет думал иначе: он, педсовет, полагал, что этот непонятный бородатый француз умышленно подстраивается под незрелые детские мозги и, получив власть над оными, умышленно же калечит неокрепшие детские души разной безответственной болтовней про устрицы, шампанское, Тулуз-Лотрека и женщин легкого поведения. Все свои воинственные претензии он, педсовет, выдал «товарищу Бархударяну» (слава Богу, пока еще «товарищу») на своем адаптированном французском с изрядным количеством грамматических и смысловых ошибок, уличив обвиняемого в политической слепоте и методической безграмотности.

На следующий день Жан Арменович грустно и обреченно сообщил нам во время урока:

— Вчера меня вызывали на педсовет...

— И что же?

— Я толком ничего не понял... Мне пришлось исправлять ошибки в их дурацком французском...

Возможно, вся эта катавасия как-нибудь потихоньку спустилась бы на тормозах: Жан Арменович мало-помалу мимикрировал под Дубинишну, а Шеф успокоился на достигнутом... Но крутая смершевская закваска ветерана натолкнулась на полный буржуазный пофигизм француза. Началась свара... А кто всегда побеждает в разборках? Правильно! Тот, кто читит основополагающий принцип социалистического гуманизма: «Если враг не сдается, его уничтожают!»

Вскоре Жан Арменович из Образцовой гимназии ушел, год-другой-третий скитался по московской богеме и... был таков. Я

повстречал его в пору своих вступительных экзаменов в институт неподалеку от театра Эстрады, где в то лето гастролировал великий мим Марсель Марсо.

— Бонсуар, Лео, са ва? (Как дела?) — окликнул меня Жан Арменович.

— Поступаю...

— А я уезжаю... Пора.

И тут он произнес сакраментальную фразу, ставшую на долгие годы девизом моего захудалого существования...

— Лучше ночевать в Париже с клошарами, чем жить в роскошной московской квартире...

— Я завидую вам, Жан Арменович...

— Вы? Мне? Ну что вы! Вы еще так молоды...

Он порылся в кармане и извлек оттуда крошечную Эйфелеву башню, сдул с нее излишки хлебных крошек и табака, протянул мне...

Вскоре после школьных выпускных экзаменов мамина подруга тетя Лена присутствовала на нашем семейном совете в качестве консультанта. На повестке дня стоял только один вопрос — о моем поступлении на учебу в престижную Академию языкознания имени Дружбы народов, куда, по просочившимся на волю слухам, евреев не подпускают на пушечный выстрел. Особенно — на спецфакультет перманентного перевода (сокращенно, спермфак), готовивший студентов к работе, связанной с дефицитными заграникомандировками.

Именно тетя Лена подвела черту под затянувшимся за полночь разговором: «Мальчик подготовлен отлично. Грех не попробовать». Наивная женщина!

При первом же удобном случае она подошла вплотную к декану и торопливо заговорила:

— Слушай, Валёк, сроду ни о чем тебя не просила — первый раз молю: сделай доброе дело! Племянник мой к нам наводрился... (Версия о племяннике была отработана заранее — муж тети Лены хоть и был полковником, а все же хромал на пятый пункт.) Он прекрасно говорит по-французски, эрудирован...

— Нет проблем, Леноч... Вопрос изучим, сделаем все, что в наших силах... Как его... фамилия?

Декан достал записную книжку, перелистал, нашел нужную страничку, снял колпачок авторучки...

— Левин,— уныло и обреченно выдохнула тетя Лена. И хотя фамилия эта встречается у самого Зеркала Революции, для меня все уже было кончено...

— Левин? — несказанно изумился декан, как будто речь шла о каком-то Лао Цзы, — Да-а... Ле-евин...

Тетя Лена физически ощущала, как выдавший виды партийный функционер медленно выплывал из глубокого нокдауна.

— Но, Валя, он прекрасно подготовлен. Ручаюсь тебе! — Тетя Лена еще раз попыталась исправить положение слабой атакой.

— Нет, Лена, извини — не могу! — Декан ушел в глухую непробиваемую защиту.

— Но как же нам быть? Он окончил Образцовую гимназию... Фактически всю жизнь он готовился к поступлению в нашу академию...

— Левин? Ну, ты даешь! — Декан медленно, но верно приходил в себя.— Прекрасная мысль: а почему бы ему не пойти на педагогический? Левину твоему... Прекрасная специальность! А потом он все равно получит диплом нашей Академии Дружбы...

— Но он хочет стать переводчиком!

— И пусть себе... хочет. Главное — диплом, а дальше — видно будет... Все, Лена, решили! Я записываю... Левин... Как его звать-то? Та-ак... На педфак... Там одного просунуть можно — у меня есть резерв... И Волобуев из «единички» свой человек... Отлично... Лена, уверяю тебя, это еще лучше — ты мне сама спасибо скажешь!

— Неужели ничего нельзя придумать?

— Ну ты, честное слово, Лена — как ребенок! Не понимаешь простую вещь: на спермфаке вообще нет никакой процентной нормы! Сказано ясно и лаконично: «Не принимать!»

— Но...

— Никаких «но»! Но я знаю, что ты имеешь в виду... Только по специальному звонку оттуда! Не откуда-нибудь еще, а только оттуда, и только по специальному звонку. Я тебе этого не говорил (впрочем, наивный человек, кроме тебя, все и так знают!), но в этом году такой звонок уже был...

— И кто же это, если не секрет?

— Секрет. Но все уже знают... Ширинкер Осип, хороший парень, спортсмен-разрядник,— декан понизил голос до неузнаваемости и

поднял вверх указательный палец,— племянник личного переводчика Генерального...

На очередном семейном совете, где тетя Лена вслух изложила все свои невеселые соображения, случилось непредвиденное и невозможное: я категорически отказался от предложенной мне педфаковской компенсации. Уперся как осел... Какая муха меня укусила — понятия не имею... Дух неповиновения вселился? Логикой этого не объяснишь... Чему я хотел противостоять? Системе?.. Да таких вот шустрых муравьишек давили толпами, похода, даже не замечая корчащихся полутрупиков!

Знающие люди пытались отговорить меня от «опрометчивого шага», но как-то вяло, неуверенно, без напора. И я подал документы на этот самый спермфак...

Вступительные экзамены начались с иностранного языка, где проходил первоначальный «естественный отбор»... Логично: чего тянуть резину чужого эспандера. Но, получив пять баллов на старте, можно всерьез рассчитывать на хороший финиш. Я получил лишь четыре. Меня битый час гоняли по таблице спряжения неправильных глаголов, но знающие люди верно информировали меня о тех ребусах, которые вынуждены решать суетливые горемыки, намеченные на засыпку. Что толку: это был первый звонок... Дальнейшее сопротивление было не только бесполезно, но и глупо. Однако моя злая муравьиная судьбишка зачем-то тащила меня на большую дорогу под копыта обезумевших конников.

Оба экзамена по литературе, и устный и письменный, я сдал на «пятерки», а поскольку общий проходной балл вырисовывался где-то в районе «восемнадцати», то на последнем экзамене по истории СССР меня и должны были окончательно прихлопнуть. Я это знал точно. Ведь даже паршивенькая «тройка» еще оставляла мне какие-то шансы, пусть и призрачные...

Случилось именно то, что и должно было случиться: я получил «неуд». Со мной не мудрствовали лукаво, не заманивали в ловушку, не подкидывали вопросы на засыпку — на всю эту декоративную муру времени тратить уже не стоило. Мне объявили прямо, по партийному, что я «вобщем-то, представляю себе суть вопроса», но при этом я «исказил политическую сущность исторического события». А вы понимаете, что значит: исказить политическую сущность? В свое время за это давали «двадцатку», а то и к стенке

ставили, я же отделался каким-то либеральным «неудом»... Значит, мне еще повезло.

Тем же летом я поступил в другой вуз, тоже, конечно, с процентной нормой, но, видно, не такой драконовской — и жизнь пошла по иной колее: в парижские командировки отправляли с дальней платформы, от которой меня отделяли ревущие пропасти, заполненные несущимися поездами. Однажды я чуть было не влип в историю: меня почти уже пристегнули к одному знаменитому процессу начала 70-х, но в последний момент обо мне почему-то забыли... А я уже примерял белые одежды страдальца и мысленно прочерчивал небесную трассу изгнанника до аэропорта Орли. А коли в Париж отпускали лишь заграникомандировочных или политэмигрантов (а мне не суждено было стать ни тем, ни другим), все для меня было кончено... навсегда.

Я перешел в иную реальность, когда мир стал другим, стал другим и я... Ушел на восток, а не на запад, ни о чем не жалея, оставив убогое свое прошлое в разоренной квартире на московской окраине, ушел туда, откуда нет пути назад, только вверх, к бездонной четырехмерности пространства Мория, в горний Иерусалим; ушел навсегда, а значит, все равно, что исчез из времени, в последний раз незряче обернувшись на оставленную кучу хлама, который больше не понадобится — старые разношенные сандалии, дырявый плащ, широкополую шляпу, сломанные перья, хрустальный бокал, пустые бутылки, порванные страницы дешевых брошюр и общих тетрадей...

Так я думал тогда.

Но вот я почему-то возвращаюсь, казалось, лишь на мгновение, извлекаю из мусорной свалки древнюю книжонку о парижских прогулках на адаптированном французском и потертую ажурную башенку, перебираю в руках свое богатство, как бы раздумывая, на что оно мне, потом кладу его на единственной колченогий стул, оставшийся в моем прежнем жилище — и ухожу... ухожу прочь...

1995

УЛЬПАН НА УЛИЦЕ ГЕРЦЛЬ

Говорят, что такой зимы не случалось вот уже лет сто. Дождь идет почти непрерывно, то усиливается, то ослабевает, то с шумом вываливается, как из опрокинутой на голову банной шайки. Деревья стоят понурые и удивленные. Набережная мерцает стеклянным пустоцветом кафе и пабов. Море сердито покашливает и недовольно урчит.

— Ну и дела, — говорит сиплым простуженным голосом днепропетровская хохлушка Таисия, чья бабушка по материнской линии, как выяснилось, была еврейкой, — ну и дела... Даже и не вспомню такого. Году так в семидесятом ездили мы к свояку в Ленинград, аккурат весь месяц лило без продыха...

Таисия ходит в ульпан прилежно, слова записывает русскими буквами, запоминает плохо. Мы стоим под навесом и ждем начала занятий. Дождик бубнит свое. Таисия ежится, молчит, что-то вспоминает.

— Слушай, дочку-то мою запишут еврейкой, ты как думаешь? Ведь мужик-то мой русский был, сама я по батьке хохлушкой выхожу. А-то болтают, идти нужно к раввину, подтверждать там как-то...

— Не волнуйся, — отвечаю, — все у тебя в порядке.

— А ты откуда знаешь?

— По закону твоя дочь еврейка.

— Ну? Странно как-то... А-то, знаешь, разное болтают. — Таисия замолкает, будто дремлет, но вдруг встрепенувшись, говорит опять. — В квартире у нас черт что, Содом какой-то: местные на второй половине бузят по ночам. Я уже не говорю, что обогреватель жгут и шарманку на всю мощь крутят...

— Надо хозяину сказать, зачем же терпеть-то?

— Да как скажешь-то? Он ведь по-русски не в зуб ногой. Вот этих наших местных возьми... Говоришь им, да что толку! Мы ведь за электричество пополам платим. А им хоть бы хны. Знай дают себе на полную громкость. Верка, дочь моя, всю ночь глаз не сомкнет, мается, ребенок тоже не спит — беда, да и только.

— Так что же это? Гости к ним что ли приходят?

— Гости — не гости, сами всю ночь не спят.

— Всю ночь? Они, что, по ночам музыку слушают?

— Экой ты бестолковый! Из Марокко они, африканцы, мать их за ногу, прости Господи. Горячие, видно, очень. Раз по пять — по шесть за ночь орут благим матом, а перегородка-то тонкая, вот они врубают шарманку, да еще и вопят, как мартовские коты. Я им говорю: что ж вы, ребятки милые, делаете, спать не даете ни ребенку, ни мне, старухе. А этот черный, осанистый такой, пальцем мне в лоб тычет: «мишугаат», чокнутая, дескать, — это секс, и рукой так показывает — это секс, мол, мамаша! Тьфу, ты черт, прости Господи! Сил больше моих нету. Верка с ног валится. Да еще дождь этот, холод собачий.

— Да, потоп...

По утрам народ на занятия собирается туго. Подходит бывший «комсомольский бог» Раймонд с красавицей-женой манекенщицей Алиной. Бывший милиционер Боря из Тюмени. Вывший директор завода симпатичный толстяк Микаэль с супругой Аидой. В глазах судорожно пляшет главное: ну, как у вас? что у вас? есть работа? как собираетесь жить дальше?

Мария возникает неожиданно, быстрая походка, нервные движения, высокая, щедро расплескивает свое настроение. Она родилась в Казани от татарина и еврейки, вышла замуж за ленинградца Вову и родила сына. И вот привезла всех сюда.

Вова, подвыпив, твердит: «Знаю, мля, одно — во всем виноваты евреи: там, курвоёбы, революцию затеяли, здесь честным людям жить не дают...» Мария смотрит с тоской — ну, что с больного взять, акромья анализов? «Уеду, падла», — твердит Вова. «Давай, давай, — не перечит Мария, — здесь без такого хмыря, как ты, в десять раз легче. Найдутся хорошие люди...» «Я тебя сейчас, падла, буду убивать», — начинает вскипать Вова, и Мария знает, чем может кончиться такой «разговор».

Микаэль стоит в сторонке, виновато улыбается, перебирает бумажки с «ивритскими» словами, шевелит толстыми губами, бормочет...

— Там все было — машина, дача, квартира, мы вот новый цех открывать собирались — по переработке отходов, передовое дело, понимаешь. Да вот решился. Моя-то говорит: надо, Мишечка, ехать, парню в армию скоро, а там, сам знаешь, дела-то какие, дедовщина, потеряем сына-то... Да, тяжело будет, тяжело.

— Мишутка, сумку бери, иди сюда, бананы по дешевке дают, — через улицу кричит Аида. Микаэль забегает в класс, растворяется.

Идет дождь. Потом вдруг косолапо ковыляет с сумкой через дорогу, глубоко втянув голову в плечи. Кажется, все существо его вопиет: цех, понимаешь ли, открываем по переработке...

Какой цех, Миша? Зачем?

Алина цедит небрежно: «Вальку-то, сучку, помните? Ну, недели две первые в ульпан ходила, все выпендривалась: “Ма нишма? Ма шломха?” Нашла-таки себе ватика-алкоголика. В стране лет десять, нигде не работает. Говорит: “А на хрена мне работать, вы-то на что? Мы были борцами за сионистскую идею, а вы за колбасой приехали. Вот и вперед — дерьма вокруг много, разгребайте!” Так вот. Вчера появился пьяный, Валькина мать встала в дверях и орет: “Не пущу, не дам ребенка калечить!” А он бабке по голове, прямо в висок попал. Вдруг Валька из-за ее спины как выскочит, да как вцепится ему в рожу...»

Алина оживает. Она долго говорит о том, как вызывали полицию, как увозили их обоих, как Валька так ни черта и не смогла объяснить на иврите. В конце концов, их выпустили, Валька вернулась домой на такси, заняла у Алины двадцатку, а с утра забаррикадировала дверь, ждет «разборку»...

— Не знаю, не знаю, — говорит Боря, бывший страж порядка, — надоело слушать, как вы все плачетесь.

Боре повезло, у него связи. Он работает мусорщиком по специальной программе в городской мэрии — после уроков в ульпане. Зарабатывает.

— Вчера зашел в кабак на набережной: одни «наши» сидят, репатрианты, водку жрут. И все стонут — денег нет... Не, ребята, лучше бы вам сидеть в России. Там «совок», а здесь нормальные капиталистические отношения. Сопли распускать некогда...

Мария говорит вдруг странным громким шепотом: «Ты Наталью-то помнишь, тихая такая ходила, ты еще сказал, глазищи у тебя, мать, виноватые, как у коровы, помнишь? Муж с ней развелся, как с «гойкой», нееврейкой то есть, автоматически расторг брак, а свекровь сказала, ты нам нужна, чтобы смотреть за ребенком, будем тебя кормить, а ты станешь за детём ухаживать, ну, гулять там, пеленки стирать. Я ее вчера в парке встретила: с колясочкой сидела, убитая. А куда ей деться-то?»

— Ну, я не знаю, — в Россию обратно.

— Да у нее документов никаких нет, все родственнички спрятали. А потом, как она без ребенка-то останется. Ей помочь надо, а то надумает еще что-нибудь...

— Я вообще не понимаю, о чем вы толкуете, — обиженно встрял в разговор Раймонд. — Израиль — это страна для евреев. Понаехали тут не знаю кто, а теперь стонут. Раньше надо было думать...

Идет дождь, но не бесцельно и нудно, а как-то вдруг вздергиваясь и прицеливаясь...

Может быть, и прав этот Раймонд? Да и где мы все сегодня? Когда-то еще встанут на ноги и поднимутся в невидимую даль будущего Мария, Микаэль, Таисия — из своих Днепропетровсков и Тирасполей? Узрят ли невозможный и немислимый свет Книги? Почувствуют ли влагу и аромат Святой Земли? Остановятся ли, испуленно притихнув, у Стены плача?

Но увидели, спиной почувствовали, приосанились, заулыбались: идет мора Ханна, учительница Ханна, маленькая израильтянка с кожаной сумкой через плечо. Ты, Ханна — единственная тоненькая ниточка, связывающая их сейчас с той невероятно далекой Землей, до которой им предстоит так нескончаемо долго брести среди утрат, воспоминаний, надежд, нелегких обретений.

Сейчас они сядут за парты, бывшие милиционеры и директора, фарцовщики и философы, манекенщицы и инженерши. Ханна напишет на доске сегодняшнюю дату, но не привычными цифрами, которыми начислялись зарплаты и нумеровались партийные съезды, а какими-то древними знаками, выплывшими вдруг из глубин Вечности и означающими Время от Сотворения Мира.

1992

ТАК НАЧИНАЛАСЬ НОВАЯ ЖИЗНЬ

*К 30-ЛЕТИЮ УКАЗА ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР
«О МЕРАХ ПО УСИЛЕНИЮ БОРЬБЫ ПРОТИВ ПЬЯНСТВА И АЛКОГОЛИЗМА,
ИСКОРЕНЕНИЮ САМОГОНОВАРЕНИЯ» ОТ 16 МАЯ 1985 ГОДА*

С недавних пор у нас происходят странные вещи.

В Доме культуры имени Надежды Константиновны, где уже лет пятнадцать трудится мой давний приятель Леха Милов, после жестоких андроповских репрессий вдруг отменили обязательную регистрацию прихода и ухода сотрудников. Амбарная книга с записями еще некоторое время валялась в гардеробе без всякой надобности, пока кто-то не нарисовал на обложке смачный мужской член с коварной подписью «ум, честь и совесть нашей эпохи». Все бы ничего, да только рисунок был выполнен с таким виртуозным мастерством, с такими удивительными подробностями, что след этого художества сам собой потянулся в студию изобразительного искусства, которая входила в отдел культмассовой работы, возглавляемый Миловым на общественных началах. Впрочем, следствие, возбужденное администрацией так ни к чему не привело. После этого прискорбного факта книга была окончательно изъята из обращения, но еще некоторое время в качестве вещдока лежала на шкафу в кабинете завуча.

На фоне этого безобразия по радио заговорили об ускорении и гласности. Я сам наблюдал, как дядя Коля с Преображенки пытался выговорить слово «интенсификация» в своих поучениях окрестным алкашам и даже поспорил с Миловым на бутылку пива, удастся ли ему эта непростая затея. Но через несколько минут томления всем пришлось согласиться на ничью. Ну, это к слову...

Потом заговорили вслух, что евреев скоро начнут выпускать за кордон, но я, признаться, в это совершенно не верил. Начнут отпускать понемногу – попрут все, кто-то под видом евреев, кто-то под видом членов семей, а кто-то и просто так за компанию – потому что разрешили. Никакой Израиль не выдержит.

Дальше – больше: вдруг без всяких видимых причин закрыли на капремонт пивную напротив.

А тут еще поползли угрожающие слухи о намерении властей прекратить продажу спиртных напитков и объявить «сухой закон», чтобы, как пояснил дядя Коля, «мировая закулиса окончательно не

споила русский народ». Откуда эта «закулиса» взялась, и на кой хрен ей русский народ, дядя Коля не знал.

Настроение, однако, было мутное. Руководитель поискового краеведческого отряда Леха Милов уже час томился в ожидании своего преданного ученика и оруженосца, студента-медика Ромки Конецкого, который имел твердое обыкновение приходить «к шефу» после рабочего дня под выходные с обязательными тремя бутылками портвейна «Чашма», продававшегося в соседнем магазине, прозванном «девятнадцатым» за неимением настоящего имени. Ромка с ранних лет ходил с Миловым в экспедиции, объехал полстраны, думал поступать на геофак, но неожиданно свернул в медицину, о чем, впрочем, не жалел и даже иногда притаскивал «шефу» с практики пузырьки со спиртом. В ожидании припозднившегося «медика» (так Милов называл Конецкого, когда злился) Леха открыл Журнал посещаемости занятий, но работать не мог, переживал и тупо смотрел на белые разлинованные страницы.

От нечего делать Милов взглянул на часы, свои любимые, командирские, потом нажал кнопку и увидел дату: 16.05.85.

Тут дверь, наконец, открылась, и он... не увидел даже, а именно почувствовал растерянное, перевернутое лицо Конецкого.

– Ну? – спросил Милов.

– Хреново, – ответил Конецкий. – «Девятнадцатый» закрыт.

– Ты спросил Зинаиду? Дверь подергал?

– Глухо. Там висит замок. Наверно, проворовались.

– Что делать будем? – в задумчивости проговорил Милов.

– Пошли на Преображенку. В большой гастроном.

Милов был раздосадован: не удалось принять на грудь сходу. Непруха! А он уже загодя приготовил пару аппетитных бутербродов с колбасой и даже соленый огурчик припас. Выбирать, однако, не приходилось. Милов уложил в сумку закуску, прихватил на дом Журнал посещаемости, надел ветровку и мрачно выдохнул: «Пошли!».

Стояла вдохновенная теплынь середины мая. Светило солнце, неяркое, весеннее, предвечернее. Листья на тополях совсем раскрылись, обрели силу и цвет. Да, стакан портвейна явно не помешал бы освежить настроение...

В гастрономе «Преображенском» происходило немислимое. Все отделы – бакалея, овощи, мясо-рыба – торговали в обычном режиме, – там шумели очереди, кипела жизнь. Только вино-

водочный пребывал в глухом оцепенении: у прилавка, где в это время суток обычно на смерть бились изголодавшиеся за день работяги, царило гробовое молчание, на полках, глумливо ухмыляясь, ровными рядами выстроились бутылки грушевой воды. Продавец в отделе отсутствовал за ненадобностью.

Друзья вышли на улицу. Неподалеку стоял здешний завсегдатай дядя Коля и что-то азартно втолковывал двум поиздержавшимся забулдыгам. Миров и Конецкий подошли поближе, но, собственно, ничего нового не узнали: сегодня в силу вступил указ, регулирующий торговлю спиртным; согласно указу алкоголь должны продавать с 14 часов, но отдел так и не открылся – ни в 14, ни в 15 – никогда. Действительно, про указ слышали все, но никто не предал этому особого значения. В стране время от времени проходили компании борьбы с чем-нибудь мало осозаемым: с табачным дымом, бракоделами и «несунами», низкопоклонниками перед иностранщиной. Началу таких компаний всегда сопутствует некоторое неудобство жизни. Ну, вроде того, что при запрете на курение в ресторанах приходилось платить официанту рубль за то, чтобы он принес пепельницу и отвернулся. Мы, конечно, одобряем меры, но по искоренению действуем лениво. Такого свирепого начала не ожидал никто.

Миров и Конецкий постучали в подсобку. Через несколько минут дверь приоткрылась, и в щель просунулась взлохмаченная голова Борьки-Валета, тутошнего кладовщика, известного бабника и «каталы» из ресторана «Уксус».

- Вам что?– спросил Борька.
- Красное есть?
- Ничего нет.
- Как ничего? А что есть?
- Ничего.
- И водки нет?
- Нет.
- А будет?
- Не знаю. Ночью мы все запасы «скинули», а больше ничего не привезли.
- А пиво? – с отчаянием выдохнул Конецкий
- Какое пиво? Пива у нас уже полгода нет.
- А что делать, Борь?
- А я почему знаю... Все, ребята. У нас ревизия.

Борька с раздражением захлопнул дверь перед носом страждущих.

Ребята остались в полном недоумении. На улице дяди Колина компания стояла с потухшим взглядом. В воздухе разлилась безнадега.

– Поехали на Самотеку, – вдруг уверенно сказал Миров. – Я там всех знаю.

Далековато, конечно. А что делать? Сели на метро и поехали.

На Самотеке их ждал очередной удар ниже пояса: в помещении винного магазина открылся кондитерский отдел соседней булочной. Ничего подобного невозможно было разглядеть и в кошмарном сне.

Миров первым пришел в себя и потащил товарища по несчастью в Столешников. Но и там полный облом: магазин, который с дореволюционных времен москвичи называют «Дюпре» по имени старого хозяина-француза, был закрыт на огромный висячий замок. Наверно, впервые после НЭПа.

В полном отчаянье ребята бросились в Елисеевский гастроном на улице Горького. Это был последний шанс. Близилось время закрытия. Как говорил классик, дальше – тишина. Но Елисеевский работал, винный отдел пребывал в оживлении, там даже сформировалась небольшая очередь. Неужели повезло? То, что увидели Миров и Конецкий, находилось за гранью привычной реальности: народ бодро раскупал дорогущий грузинский коньяк «КВ» семилетней выдержки за 17 рублей 40 копеек – так называемую «белую головку», – который и к праздничному столу могли позволить себе немногие.

Объявили, что отдел скоро закрывается, и что, мол, просьба освободить... Ребята пересчитали наличность – вышло 9 рублей 80 копеек. Не так плохо, казалось бы: на эти деньги можно было купить две бутылки водки, уж не говоря о портвейне «Чашма» – целый банкет закатить! Но сейчас это богатство оказалось совершенно бесполезным.

– Граждане, прошу освободить помещение, – слышался чей-то тусклый голос.

Миров только и успел подумать: ну, все... Он резким движением сорвал со своей руки любимые командирские часы и заорал:

– Смотрите, товарищи, часы новые, почти японские, за червонец отдаю...

Он поднял часы над головой, словно зная.

– Глядите, товарищи...

Остатки небольшой очереди повернулись к нему и взглянули, – кто с жалостью, кто с досадой, а кто и возмущением...

Вдруг, откуда не возьмись, появились местные работнички порядка и принялись буквально выталкивать некрупную Лехину фигуру из магазина...

– Часы новые, за червонец, – орал окончательно скомканный Миров.

Конецкий бросился на помощь. Но обоих как-то вдруг очень быстро и профессионально скрутили и вытолкали на улицу...

– Ты, халуй, сука, не трогай меня руками, падла. Люди вы или нет!..

Из упавшей на тротуар сумки вывалились Журнал посещаемости, бутерброды, соленый огурец, футляр для очков, авторучка.

Миров стал запихивать свое хозяйство обратно и вдруг, как бы передумав, принялся швырять помятую закуску в спину «халуев», потом встал на четвереньки и завыл по-волчьи: у-у-у-суки-и-и-и... Ромка бросился подымать друга.

– Леш, а Леш, успокойся, а... Еще не все потеряно. Пойдем, поищем у таксистов...

Но Леха Миров не унимался: у-у-у-суки-и-и-и... комуняки-и-и-и...

Пройдет неделя-другая, и толпы страждущих организуются и выстроятся в нескончаемую очередь от Калининграда до Владивостока, будут стоять в ней сутками, платить вдвое и втрое за бутылку «бормотухи», травиться, отлеживаться, отпиваться чайком и вновь занимать очередь поутру. Правда, потом... Но это будет еще не скоро.

– Леш, а Леш, давай поднимайся, поехали к трем вокзалам.

Так начиналась новая жизнь.

2015

Гомберг Леонид Ефимович
ТРИ ЧЕТВЕРТИ ВЕКА
Избранные эссе и рассказы

Резвова Ирина фото
Северов Сергей Павлович
Верстка и дизайн

2023



Леонид Гомберг родился в Москве. Окончил филологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. Работал журналистом в израильской и российской прессе. Автор нескольких книг по проблемам библейской истории, а также многих историко-литературных, биографических и мемуарных

статей, посвященных творчеству современных писателей; биограф поэта Ю.Д. Левитанского. Автор проекта «Предварительные итоги» (1-6 выпуски) на сайте: leonid-gomburg.ru

Свой жанр Леонид Гомберг определяет так: “Прогулка литератора по тропам мифологической истории”. Что он хороший литератор, видно невооруженным глазом. Но это не единственное достоинство его текстов. Гомберг не только литератор, он — историк, религиовед, специалист по мифологии. Он в высшей степени вооружен в своем путешествии по темным тропам истории... Что меня еще подкупило в Гомберге, писателе и историке, — корректность в фактах и отвага в мотивировках.

Лев Аннинский

С огромным интересом прочитала книгу [«Израиль и Фараон»]. Хотя она и небольшого объема, но одолевается и осознается как капитальный труд. Список перевернутого материала огромен! Мне приходилось читать некоторые книги на темы, о которых Вы пишете, и должна отметить поистине академическую последовательность, аргументированность и в то же время ясный внятный язык литературных эссе.

Дина Рубина

Книга Гомберга [«Голос пустыни»] написана прекрасным литературным языком и легко читается. Она ставит перед нами немало трудных вопросов, которые остаются актуальными уже пять тысяч лет, и на которые нет ответа. Возможно, в этом ее главная ценность.

Александр Городницкий

Книга Леонида Гомберга «Добрая земля за Иорданом» может быть названа «добрый книгой», несущей людям не только знания, но и трепетное внимание к вечным общечеловеческим ценностям. Опираясь на основательные научные знания проблем библейской истории, автор сумел изложить их в хорошей литературной форме. Книга пробуждает добрые чувства, в которых так нуждаются приобщенные к духовной культуре люди в нашей достаточно суровой действительности.

Наталья Басовская